

РАСКАЗАЧИВАНИЮ НЕ БЫВАТЬ!

СПЕЦНАЗ НА ДОНУ, 1919
ПОХОД НА ПОЛНОЧЬ.



КОНСТАНТИН ГРАДОВ

Константин Градов

**Расказачиванию не
бывать! Поход на полночь**

«Автор»

2026

Градов К.

Расказачиванию не бывать! Поход на полночь / К. Градов —
«Автор», 2026

Офицер сил специальных операций Сергей Лагунов погиб в бою, прикрывая отход своей группы, — и пришёл в себя весной 1919 года в теле двадцатичетырёхлетнего донского казака-фронтовика Степана Беркутова. Прошло полгода. Теперь он не беглец и не повстанец, а командир разведывательно-диверсионной группы «беркуты» — «глаза и нож» глубокого рейда 4-го Донского корпуса по красным тылам. Осень девятнадцатого, пик Гражданской. Белые армии идут на Москву. Корпус рвётся всё дальше на север — Тамбов, Козлов, Елец, Воронеж, — рвёт железные дороги, жжёт мосты, топит вражеский тыл лихими ночными налётами. Удача кружит головы: ещё один переход — и вот она, Москва, конец большевизму. В победу верит весь стан.

© Градов К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	27
Глава 6	32
Г	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Константин Градов

Расказачиванию не бывать! Поход на полночь

Глава 1

Коней мы вывели в темноте, не зажигая огня, и первым звуком похода был не приказ и не труба, а тихий, костяной перестук копыт по сухой колее да скрип седельной кожи, когда люди один за другим поднимались в стремя. Хутор спал за нашими спинами — тот самый хутор, что ещё месяц назад горел, голосил и хоронил своих по спискам, а теперь лежал тихо, отгоревший, отплакавший, и в темноте от него тянуло остывшей золой пожарищ и парным духом скотины, которую успели свести обратно по базам. Я придержал коня на выезде, у поваленного плетня, и дал отряду протянуться мимо — пересчитать его в темноте было привычкой, от которой я не собирался отвыкать.

Их прошло немного. Горстка против того, что выходило на этот шлях из других станиц, — десятка три верховых, две тачанки да телега с тем небогатым добром, какое мы нажили за весну: патроны в цинках, перевязь, чужие документы, Гаврилин трофейный «люйс», укутанный в попону бережнее, чем иной казак укрывает дитё. Я знал их всех по голосам и по тому, как каждый держится в седле. Архип ехал, не качаясь, будто врос, — старый пластун и спал-то, говорят, вполглаза. Гаврила, напротив, ёрзал и поскрипывал: плечо у него после той, последней раны ещё не отошло, и он подкладывал под локоть свёрнутую тряпицу, а сам, конечно, отшучивался, что это не от боли, а чтоб сподручней было держать повод. Тимофей вёл своих ровно, по-уставному, и одно это уже говорило, в какую сторону он смотрит. А в самом хвосте трясся на лошадёнке Мишка, и винтовка торчала у него из-за спины выше папахи — длинная, не по росту, как и всё в этом мальчишке было пока не по росту: и винтовка, и война, и то, что он успел повидать в свои пятнадцать.

Тех, кого недосчитывался, я не считал вслух, но про себя считал всегда. Семён Кривцов остался под Каргинской, ещё по весне, мальчишкой, не дожив до этого похода трёх месяцев. Лукьян Голованов лёг в прорыве, держа рубеж, чтоб мы прошли. И ещё, и ещё — каждому я знал имя, двор и то, как он смеялся. Хорошее это дело — выводить своих живыми; да только всякий раз, выводя, я заодно и пересчитывал тех, кого уже не выведу. Командиру эта арифметика положена. Её не сдашь никому и ни на кого не переложишь.

Мы уходили на полночь. Так это здесь и называли — не «на север», а «на полночь», и в слове этом было что-то верное: мы и впрямь шли туда, где ночь, в самую её глубину, и я один знал, какая она длинная.

Это знание я вёз с собой, как везут в обозе тяжёлый, неудобный груз, который и бросить нельзя, и везти не вмоготу. Восстание кончилось. Не разбито — наоборот, оно победило, насколько вообще может победить мужицкий гнев с обрезам против двух армий: пришёл Секретёв, прорвал, соединил, и вчерашние повстанцы стали полком регулярной Донской армии — с погонами, с приказом, с местом в общем строю. Меня в этом строю поставили командиром особой команды: разведка, авангард, «беркуты», как нас уже окрестили в станицах. Дослужился. В той, другой жизни мне понадобилось бы на это лет пятнадцать, две войны и долгая выслуга; здесь хватило одной весны и того, что я знал чуть больше, чем положено знать уряднику.

И вот это «чуть больше» сейчас и грызло. Засаду на буераке поставить — полдела, этому меня выучила ещё та, давняя война. Тяжелее было другое. Весь этот поход — от первого «ура» на смотрю до последнего обоза, сползающего по льду к морю, — стоял у меня перед глазами, как стоит уже виденный однажды сон, что снится наперёд и которого не свернуть. Я перехватил повод поудобнее — и пальцы вдруг не послушались, задеревенели на ремне, будто и не мои были, будто кто-то вложил их мне в руку, а научить держать забыл. Я разжал их, свёл-развёл, погонял в кулаке кровь и снова взялся за ремень, ниже, у самой пряжки, где кожа была тёплой и живой от конского бока, — и держал так, за это тепло, покуда рука не признала повод обратно за свой.

Рука сама полезла за пазуху и нащупала там образок. Маленький, медный, затёртый до того, что лик на нём истёрся в одно тёмное пятно, — отец сунул мне его в ладонь на прощание, ничего толком не сказав, только посмотрел так, как смотрят на покойника в дороге. «Носи». Я и носил. Не оттого, что верил, будто медяшка отведёт пулю, — в это я как раз не верил, насмотрелся, — а оттого, что это было всё, что у меня осталось от того двора, от той тишины, от Насти, хлопочущей у печи, от Полины, которая на проводах глядела мимо меня в степь и косу через плечо перекидывала так, будто сердилась, а на самом деле просто не хотела, чтоб я видел её лицо. Она ничего мне не сказала на прощание — ни слова, ни обещания. Только сунула в руку узелок с сухарями да отвернулась, и я унёс с собой это её отвёрнутое плечо вернее, чем унёс бы любые слова.

— Трогаемся, что ли, Степан Тихонович? — окликнул меня из темноты Тимофей. Он один в отряде звал меня по отчеству — не по чину, а по какому-то своему счёту, и в темноте я не видел его лица, только знал, что он сейчас поглаживает ус тыльной стороной ладони, как делал всегда, когда ждал решения.

— Трогаемся, — сказал я.

И первым тронул коня в темноту, на полночь, потому что кто-то ведь должен был идти первым, а больше было некому.

Позади, в стороне хутора, один-единственный раз простучала по дереву колотушка ночного сторожа — и смолкла. Будто кто перекрестил нас в дорогу скупой, мужицкой рукой: иди, мол, чего уж там. Больше нас никто не провожал. Так оно, по-моему, и лучше — провода я не любил ни в той жизни, ни в этой. От них только тяжелее идётся.

* * *

К свету мы вышли на большак, и вот тут впервые стало видно, что мы теперь не сами по себе.

Степь за ночь кончилась — не вдруг, а исподволь, как кончается знакомый разговор и начинается чужой. Балки сделались положе, курганов поубавилось, по сторонам шляха пошли перелески, плетёные изгороди, чужие хутора с непривычно высокими журавлями над колодцами, и земля под копытами из серой, сухой, нашей, степной, стала исподволь наливать чёрным, жирным, чужим. Я ловил себя на том, что мне это не нравится. Глупое чувство, неуместное командиру разведки, — но всякий раз, как местность вокруг становилась незнакомее, во мне поднималось тихое, телесное сопротивление, будто конь подо мной упирался не оттого, что устал, а оттого, что чуял: уводят со двора.

Мишка, поравнявшись, всё вертел головой.

— Дядя Степан, гля — а земля-то чёрная какая. Жирная. У нас такой нету. Тут, должно, хлеба — по пояс?

— По грудь, — сказал я. — Сытая сторона. Только сытость, Миша, не всегда впрок. Бывает, от сытости-то и портятся.

Он не понял, кивнул и поскакал вперёд хвастать своей длинной винтовкой перед обозными, а я остался при своей мысли, потому что сказал-то я, как водится, не совсем то, что думал. А думал я, глядя на этот жирный чернозём, что по нему нам не только вперёд идти.

Знавал я такую землю. Чернозём он и в отступление чёрный, только в сухую держит колесо, а размокнет — вцепится в обод по самую ступицу и не пустит, и держит крепче всего как раз тогда, когда тебе позарез надо, чтоб оно катилось быстро. Такая земля лёгких дорог обратно не отдаёт — она их себе оставляет.

А впереди по большаку медленно, тяжко, в рыжей пыли тянулась колонна.

Это была уже регулярная армия. Большая, настоящая, какой мы за всю весну не видели. Пехота шла в строю, по четыре в ряд. Обоз тянулся без конца. Батарея на конной тяге, передки, зарядные ящики. И над всем — мерный, неживой гул, какой стоит над всякой большой массой людей, идущих в одну сторону. Пахло от колонны иначе, чем от нас. Не конским потом да полынью. Ремнём пахло, ружейным маслом, казённым сукном — и тем тяжёлым духом многих немых тел, который я по той жизни знал лучше всякого другого запаха. Мы пристроились в хвост, как было велено. И сразу сделались маленькими и лишними. Так лишним делается волк, забредший в овечью отару: вроде и зверь, а деваться некуда — иди, куда все.

Долго ехать так нам не дали. От головы колонны наметом пошёл назад верховой — молодой офицер, есаул, в чистой, не по-походному, гимнастёрке. Лицо у него было гладкое, начальственное: такое заводится у людей, поставленных блюсти порядок, — они скоро проникаются уверенностью, что порядок и есть они сами. Он осадил коня перед нами, оглядел отряд сверху вниз — папахи вместо фуражек, разномастные сёдла, тачанки, Гаврилин «люйс», торчащий из попоны, — и повёл носом, будто из той попоны и впрямь потянуло несвежим.

— Это что за табор? — спросил он, не здороваясь. — Чьи будете?

— Особая команда при штабе, — сказал я. — Идём, куда велено.

— При штабе. — Он повторил это так, будто я сказал непристойность. — А по виду — обоз цыганский. Где разъездные, где дозор головной? Прёте кучей, как на ярмарку. У меня в колонне порядок, а не вольница ваша станичная. Подтянуться, идти по двое, пулемёт убрать с глаз, людей не пугать.

За спиной у меня кто-то засопел. Я и не глядя знал, что это Гаврила, и знал, что он сейчас скажет, — что-нибудь про то, как эта чистая гимнастёрка пугалась бы поменьше, повидай она весной то, что повидали мы. Я чуть тронул повод, заводя коня вполоборота, так, чтобы оказаться между есаулом и Гаврилой, — и сказал ровно, как говорят с тем, кого решили не злить:

— Сделаем. По двое так по двое.

Есаул ещё с минуту искал, к чему придраться, не нашёл и поскакал обратно к голове, по дороге крикнув что-то своему вестовому. Я выждал, пока он отъедет, и только тогда обернулся.

— Слыхали? — Я обвёл своих взглядом. — Пулемёт с глаз. Гаврила, упакуй ты его, ради бога, по-человечески, не дразни гусей.

— Да я-то упакую, — отозвался Гаврила, и щербатая ухмылка его в рассветном свете была видна за версту. — Я вот думаю, Стёпа: мы тут который месяц этим самым пулемётом две армии держали, покуда вон те, в чистых рубашках, отходили на низа. А теперь, выходит, мы — табор, а они — порядок. Чудно как-то выходит на белом свете.

— Чудно, — согласился я. — Привыкай. Тут, брат, не та война, где тебя по делу судят. Тут судят по фуражке.

— А ты не сердчай на него, Гаврила, — подал вдруг голос Тимофей. Он ехал чуть впереди, прямой, и ус его был расправлен, а не вздёрнут. — Есаул-то по делу сказал. Кучей идём. Был бы тут не есаул, а красный разъезд с двумя пулемётами — он бы нас вот так, кучей, и положил, и фуражку нашу разбирать бы не стал. Устав, он дураками не выдуман.

Гаврила сплюнул, но смолчал — Тимофея он, как ни ворчал, уважал. А я отметил эту короткую сшибку про себя; на разведке так отмечают всякую малость, по которой потом читается большое. Тимофею эта уставная война — родная колея. А мне на неё было глядеть тяжелее всех. Впереди по большаку шла колонна по четыре в ряд — ровная, гордая, крепкая ногою,

— шла, как идёт покойник, который ещё ходит, ест, бреется поутру и бранит подчинённых за непорядок в амуниции.

И ещё одно я держал при себе. В чужой стороне я ослеп вполовину. В своей степи каждую балку знал в лицо, нюхом чуял, где чисто, а где нет, — а тут чутьё разом обнулилось, как счёт у того, кто сел играть чужой колодой в чужом доме. Большое мне было ведомо: кто кого и когда разобьёт. А малого — нет. Ни этой дороги, ни этого перелеска, ни того, сколько верстах в трёх стоит чьего войска. А убивает на войне всегда малое.

Я выслал двоих в голову, двоих по сторонам, велел Архипу взять заводных и пройти лесок справа — не оттого, что ждал там кого, а оттого, что отвыкать от ремесла нельзя, даже когда тебя записали в табор. Архип молча кивнул, сунул в ноздрю понюшку из своего рожка, чихнул беззвучно, одними плечами, и растворился в перелеске так, что и куст не дрогнул. Хоть что-то здесь было прежнее, своё.

* * *

Стали на ночь у реки, и река была чужая.

Я это почувствовал ещё прежде, чем кто-то назвал её имя, — почувствовал по тому, как она текла, по запаху, по тому, какой был у неё другой, не донской, говор на перекате. Наш Дон я знал, как знают родню: где он широк и ленив, где сжимается в горле меж меловых круч, где брод, где омут, где ходит сом под корягой. А эта текла мимо — не злая, не добрая, просто чужая, и вода в ней была другая на вкус, когда я зачерпнул её пригоршней и поднёс к губам. Мелочь, а отметила во мне ту самую черту, через которую мы за сутки перешагнули: вот тут кончился дом и начался поход.

Костров жгли мало и прятали по балочке. Люди валились спать, не разбирая, иные не доев, — первый дневной переход в чужую сторону вытягивает не столько ноги, сколько душу. Я обошёл посты, проверил коней, сменил отсыревший заряд в карабине, заглянул, спит ли Мишка, — мальчишка спал, подложив под щёку приклад своей не по росту винтовки, и во сне у него было то простое, отпущенное лицо, какого днём он стыдился и прятал под напускной взрослостью. Я постоял над ним, поправил скатку, чтоб не дуло в спину, и только после этого сел сам — спиной к старой ветле, лицом к воде, — и позволил себе ту единственную роскошь, какую командир может позволить, когда все улеглись: минуту ничего не делать.

Архип оказался рядом раньше, чем я услышал его шаги, — присел на корточки, помолчал. Достал рожок, понюхал, протянул мне — я отказался. Он спрятал.

— Дальние места, — сказал он наконец, глядя на воду. — Я в этих краях по молодости бывал, при японце ещё гнали нас тут эшелоном на войну. Земля сытая. Хлеб, должно, родит — страсть.

— Родит, — сказал я.

— А чужая. — Он помолчал, пожевал губами. — Ты, Степан, мужиков-то держи покрепше. Тут не у себя. У себя казак за плетень держится, за баз, за бабу, за могилки дедовы. А вынь его из юрта, дай ему чужого хлеба досыта да чужого добра под руку — он и поплыть может. Не со зла. От воли. Воля без своего двора, она знаешь какая? Шальная. Я такое видал, как раз в этих местах. Сперва геройство, а после грабёж, а после уж и сам себе не рад. На то и говорю.

Я посмотрел на него сбоку. Старик глядел на чужую реку и говорил о том, чего ещё не было, — а оно будет. Именно это и будет. Сытость, добыча, шальная воля, обоз, который распухнет так, что лучшая конница в нём захлебнётся и встанет, — всё, до последнего слова. Архип чуял это нутром, чутьём прожитой жизни. Он от своего чутья хмурился, жевал губами да крепче брал повод, наматывал его на кулак, разбирал по волосу и снова наматывал, как наматывают, когда руки просят дела, а дела нет. А я ловил себя на том, что начал дышать через раз, мелко, бережа воздух, как берегут его под завалом — не оттого, что мало, а оттого, что не прибавится.

Потому что чутьё можно перебить делом. А знание перебить нечем. Я мог выиграть завтрашний бой, спасти завтрашний хутор, увести от пули вот этого мальчишку, что спал сейчас в трёх шагах. Но переломить то, что катилось на нас всех с севера, я не мог — и оттого впервые за всю весну поймал себя: а не легче ли было не знать? Жить, как Архип, как Гаврила, как все они, — одним сегодняшним днём, одной сегодняшней удачей, верить, что раз бьём — значит, добьём, и что Москва — вот она, за тем перелеском?

Я нащупал за пазухой образок и подержал его в кулаке. Тёплый — от меня нагрелся. Отец, когда совал мне его, верно, думал, что отправляет сына под Божью руку. А отправлял под такую ношу, какой не пожелаешь и врагу: всё знать наперёд и всё равно идти.

— Архип, — сказал я. — Ты вот что мне скажи. Бывало у тебя так: чуешь, что дело худо обернётся, наперёд чуешь, — а молчишь? Потому как скажи — не поверят, а только зря людям руки опустишь.

Старик не сразу ответил. Понюхал ещё, спрятал рожок, посмотрел на меня — и в выцветших его глазах, в которых, казалось, давно всё выгорело, что-то на миг шевельнулось, остро и понимающе.

— Бывало, — сказал он просто. — Не раз. На то и стар. — И, помолчав, добавил, глядя уже не на меня, а на воду: — Ты, Степан, не один такой, кто наперёд видит. Только знаешь, в чём штука? Видеть-то — полдела. А ты гляди, чтоб люди за тобой шли не оттого, что ты знаешь, чем кончится, а оттого, что с тобой им до конца идти не так страшно. Вот это и есть командир. Остальное — гадание.

Он встал, кряхтя, потрепал меня по плечу твёрдой сухой ладонью — впервые за всё время, что я его знал, — и пошёл будить Тимофея на смену, оставив меня одного с его словами и с моей ношей.

А я ещё посидел, глядя, как чужая вода уносит на себе обломок луны. Слова старика легли верно. Потому что и впрямь не в том была моя сила, что я знаю наперёд имена городов, — знание это сидело во мне, как заноза, и проку от него было меньше, чем боли. Сила была в том, чтоб эти люди, спящие сейчас у балочки, дошли. Не до Москвы — Москвы для нас не будет, как ни кричи завтра «ура» в строю. А до того берега, какой ни выпадет в конце, через всё, что встанет на пути: через гребень удачи, через обвал, через лёд той весны, которую я уже видел и о которой не скажу никому. Своих. Этих вот. Поимённо. Сколько вышло из хутора, столько и довести — а недосчитаюсь хоть одного, спрошу с себя сам, и спрошу строже всякого устава.

Я сидел у воды долго, дольше, чем позволял себе обыкновенно, и думал о том, что вот так же, наверное, сидели у чужих рек все, кому когда-либо выпадало вести людей в поход, из которого вернутся не все, — сидели, считая своих, прислушиваясь к чужому течению, отыскивая в нём не то утешение, не то приговор, и не находя ни того ни другого, потому что река чужая, и ей всё равно, кто сидит на её берегу нынче ночью и доживёт ли он до того, как она вскроется по весне. Огней на нашей стоянке почти не осталось — только угли там и сям тлели по балочке, подёрнутые пеплом, да изредка вспыхивал чей-нибудь чубук, обозначая бессонного, и в этом мерном, остывающем мерцании уснувшего лагеря было что-то такое, отчего ноша моя на минуту сделалась не легче, но привычнее, как делается привычной всякая тяжесть, которую человек решил нести до конца, не перекладывая на других и не ропща.

Где-то далеко за рекой, на полночи, в той самой темноте, куда мы шли, спал сейчас город, который мы возьмём и оставим. Спал и человек в очках, которого я ещё не догнал, — он ждал меня впереди, в чужом тылу, терпеливо, как ждёт кредитор, уверенный, что должник никуда не денется и сам в свой час придёт расплатиться. Спал где-то и чей-то брат, которого я обещал не трогать. А ночь, в которую нам предстояло войти, не спала вовсе — лежала впереди, длинная, чёрная, и я один знал, что выйдут из неё не все.

— Будем ходить по чужой стороне по-нашему, — проговорил я не то реке, не то себе и поднялся, чтоб ещё раз обойти посты перед сном.

Обратной этой дороги — я уже знал — реке для меня не будет. Но об этом я думать себе покуда запретил. На завтра был марш, а на марше думают только о завтрашнем дне; всё прочее командир откладывает на потом, как откладывают тяжёлое письмо, которое всё одно придётся прочесть, — но не сегодня, не у этой воды, не под чужими звёздами, которых я ещё не выучил называть.

Глава 2

Штаб стоял в большом торговом селе, в каменном доме здешнего хлеботорговца, — и я, едва переступив порог, понял, что попал в иную войну, чем та, к которой привык за весну.

Та, прежняя, моя война пахла конским потом, горелым порохом и сырой землёй из-под лопаты. Эта пахла бумагой. Чернилами, сургучом, табачным дымом, ваксой, тем особым казённым духом, какой стоит везде, где люди распоряжаются чужой жизнью, не глядя той жизни в глаза. В большой горнице на длинном столе, сдвинув в угол хозяйкины кружевные салфетки, лежали карты — наклеенные на холст, исчерченные синим и красным карандашом; над ними горбились двое в погонах. В простенке пощёлкивал телеграфный аппарат, и молоденький телеграфист срывал с него ползущую ленту и нёс куда-то в задние комнаты, придерживая обеими руками, чтоб не порвалась. По всему дому ходили вестовые, шуршали бумаги, за стеной кто-то ровным голосом диктовал писарю длинную ведомость, и от всего этого мерного, отлаженного движения веяло такой спокойной, уверенной силой, что я на миг и сам поверил, будто эта сила и впрямь дойдёт до Москвы и возьмёт её.

Я-то знал, что не дойдёт и не возьмёт. Но веяло складно, ничего не скажешь.

На большой карте, что лежала ближе к двери, синие стрелы тянулись вверх, на полночь, к одной жирной точке, обведённой дважды и подчёркнутой, — к Москве. Вычерчены они были уверенно, твёрдой рукой, и кто-то уже прикинул по ним и вёрсты, и сроки. Я глядел на эти стрелы и видел не то, что видели их рисовавшие. Они видели дорогу к победе, прямую и короткую, вычерченную твёрдой рукой, с прикинутыми вёрстами и сроками на полях. А я знал этим стрелам цену — и цена была не та, что стояла на полях. Знал и молчал; такое на людях вслух не говорят. Об этом на карте не стояло ни значка. Этого синим карандашом не вычертишь.

Нас с Тимофеем продержали в сенях с полчаса, и эти полчаса я простоял, привалившись плечом к косяку и разглядывая чужую жизнь. Мимо проходили офицеры — чистые, бритые, в скрипучих ремнях, — и всякий, проходя, окидывал нас тем коротким взглядом, каким окидывают пятно на хорошей скатерти: вроде и мелочь, а портит. Я по старой привычке перебирал их на два разбора. Вот эти — мимо: бумажные, войну видели разве что из окна штабного вагона. А вон тот, у крыльца, с обветренным дочерна лицом и наспех зашитым на живую нитку рукавом, — этот её нюхал, по нему видно. В каждом штабе так: на десяток тех, кто ведёт войну по карте да по реляции, сыщется один-два, кто ходил под пулей. Беда лишь в том, что решают чаще первые. И ещё в том, что с порога не угадаешь, кто из них тебе стодится, а кто погубит; это узнаёшь после — и хорошо, коли не своей шкурой. Тимофей стоял ровно, держал папаху на сгибе локтя по всей форме и был, я видел, доволен. Эту складность он чуял родной, она его не давила, как давила меня; для него штаб был тем местом, где война наконец сделалась похожа на настоящую, уставную, в какую его смолоду готовили. А меня, напротив, так и подмывало по старой, ненужной тут привычке прикинуть выходы: где дверь, где окно, далеко ли до коней, оставленных у коновязи. В чужом доме я всегда сперва считаю двери, а после уже кланяюсь хозяину. Насчитал я две — одна во двор, другая в задние комнаты, — заметил, что окно в сенях забрано изнутри на кованый крюк, а половица под ним разохлась и скрипнет, если ступить с краю; и только тогда отлепился плечом от косяка.

Покуда мы ждали, в сенях при мне разыгралась короткая сценка, и я запомнил её, потому что в ней, как в капле, отразилось всё это место. Молоденький вестовой, бегом несший пакет, оступился на пороге и выронил его в грязь. Из горницы тут же высунулся пожилой офицер — не злой даже, а скучливый — и, не повышая голоса, ровно отчитал мальчишку: за пакет, за грязь, за сапоги, за то, что родился неловким. Мальчишка стоял красный, тянулся в струнку и ел начальство глазами, а тот всё цедил, обстоятельно, со вкусом, как цедят те, кому власть

досталась малая и оттого особенно сладкая. И ни разу он не взглянул мальчишке в лицо — глядел мимо, на пятно грязи. В поле человека хоть убивают глядя в глаза. А тут унижают долго, со вкусом, и всё в сторону, всё мимо лица.

Наконец вестовой выглянул из горницы и мотнул нам головой: проходите.

Войсковой старшина, к которому нас привели, оказался не из тех, кого я ждал. Я готовился к спесивому, гладкому, в туго перетянутых ремнях, — а из-за карты на нас поднял глаза человек сухощавый, немолодой, с короткой бородкой клином и усталыми, в красных прожилках, умными глазами. На шнурке у него болталось пенсне, которое он, как я после приметил, надевал только для бумаг, а на людей глядел поверх стёкол, голым внимательным взглядом. Он оглядел нас не торопясь — мою папаху, Георгиевский крест на груди у Тимофея, наши сапоги в чужой, не отмытой ещё грязи, — и не поморщился. Просто смотрел и что-то про себя прикидывал, будто складывал в уме столбик и ещё не вывел итога.

— Беркутов? — проговорил он наконец. — Тот самый, что в Верхне-Донском со своей командой две красные заставы снял и обоз увёл из-под носа у самого Северина?

— Случалось такое, — отозвался я. — Снимали.

— Шумилин. Лавр Гаврилович. — Он назвался коротко, будто отдавая сдачу мелочью. — По разведывательной части тут я. Садись, урядник, и ты, подхорунжий, садись — в ногах правды нет. А у меня к тебе, Беркутов, правды на добрый час разговора.

Он сдвинул пенсне на лоб, побарабанил карандашом по наклеенной на холст карте и без всякого захода, без обычного начальственного «ну-с, доложите», спросил то, чего я меньше всего ждал услышать от штабного:

— Что в поле?

* * *

Вот на этот вопрос я отвечать умел, и за него готов был простить ему всё остальное.

С полчаса мы просидели над картой вдвоём, голова к голове, и за эти полчаса я понял, что Лавр Гаврилович Шумилин — не бумажная душа, а старый рабочий волк, которого судьба под старость засадила за карты, да волчьего из него выесть не успела. Спрашивал он коротко и всё по делу. Где красные держат заслоны жидко, а где густо. Можно ли пройти конной командой между станциями, не подняв тревоги. Сколько мне надобно людей, чтоб за одну ночь оборвать связь на перегоне, спалить запас и уйти неслыханным. Сколько верст конь проходит у меня по ночной степи и сколько — по лесу. Я отвечал, как отвечают своему, — без похвальбы и без той молодецкой дури, какую городят перед начальством, чтоб показаться смелее, чем есть. Он слушал, постукивал карандашом по холсту в такт каким-то своим мыслям и время от времени кивал — скупое, одним подбородком, как кивают не из вежливости, а когда услышанное ложится в уже наполовину сложенный расчёт.

Под конец он меня испытал. Ткнул карандашом в станцию далеко за линией, в красном тылу, и спросил будто невзначай: как бы я её взял, будь у меня сотня сабель? Это была проверка. Станцию прикрывал бронепоезд. Всякий лихой дурак полез бы в лоб. Я сказал, что в лоб не полез бы вовсе. Бронепоезд силен на рельсах и слеп в стороне от них. Я бы развинтил путь версты за две позади, ночью, тихо. И ждал бы, пока он сам не вкатится в мешок. А там взял бы голыми руками. Шумилин поглядел на меня поверх пенсне — долго, молча. Потом пометил что-то на полях карты. И по этой пометке я понял: испытание сошло.

— Толково, — обронил он, отодвигаясь наконец от карты и разминая поясницу. — Складней, чем половина моих кадровых, прости меня господи. Тех учили воевать фронтом, в линию, локоть к локтю, грудью на пулемёт. А ты, я погляжу, воюешь наоборот — врозь, тихо, в спину, чужими дорогами. Где такому выучился?

— На германской, Лавр Гаврилович, — ответил я. — Да у стариков-пластунов. Архип Дрёмов, есть у меня такой дед в команде, поднатаскал.

Это была правда — ровно наполовину. Архип и впрямь учил меня старому пластунскому ремеслу: бесшумному поиску, маскировке, чтению следа на росе. А другой половине — связи, расчёту времени на минуты, тому, как малой горсткой рвать большому войску жилы в его собственном тылу, — учил меня вовсе не Архип и вовсе не на германской, а та, другая моя жизнь. Но об этом я молчал, как молчал всегда, и Шумилину хватило той половины, что я отдал. Ему важен был не послужной мой список, а то, что я умею; он был из редкой породы людей, которые судят по делу и больше ни по чему.

И вот тут из угла подал голос второй.

Я его приметил ещё входя, да не придал значения: офицер как офицер, сидел в стороне у окна, на отлёте от карт, и неспешно чистил костяной пилочкой холёные ногти. Штабс-ротмистр — по выправке и по той ленивой уверенности, с какой он сидел, было видно: кадровый, из настоящих, не из военного времени выслужившийся. Пробор у него лежал ровно, будто отбитый по линейке, губы были тонкие, бледные, а на пальце поблёскивал перстень с печаткой, который он, заговорив, имел привычку медленно, задумчиво поворачивать.

— Любопытно, — проговорил он, не поднимая глаз от своих ногтей. Выговор у него был мягкий, столичный, без единой донской ноты, и от этой мягкости делалось отчего-то холоднее, чем от крика. — Право слово, любопытно, Лавр Гаврилович, откуда у простого урядника эдакие познания. Связь, перегоны, расчёт по минутам, ночные переходы. Не всякий, кто академии кончал, эдак-то разложит по полочкам. — Он наконец поднял на меня глаза — светлые, холодные, очень внимательные, как у доктора, который ищет в тебе хворь, ещё не зная, какую именно. — Вы прежде где служили, Беркутов? До германской. И до... как бы это поделикатнее... до перемены. Мне ведь сказывали, вы переменились. После контузии будто бы.

— После контузии, ваше благородие, — ответил я, не повышая и не понижая голоса. — Память отшибло, после мало-помалу вернулась. Не вся. Что помню — в том не совру: германский фронт, конный разъезд при сотне. А чего не помню, того и выдумывать не стану.

— Разумеется, разумеется. — Он улыбнулся одними губами и снова повернул на пальце перстень. — Выдумывать — это дурно. Я ведь отчего интересуюсь. Время нынче такое поганое: всякий норовит сказать не тем, что он есть на самом деле. Иной мужик в благородия лезет, иной благородие — в мужики прячется. А иной, случается, и вовсе непонятно откуда берётся. Был себе человек — и весь вышел. Чудеса в решете, да и только. — Он выдержал паузу, давая словам осесть и улечься, как умеют только те, кто привык допрашивать. — Вы не подумайте дурного. Я к слову. Служба у меня такая собачья — спрашивать да сомневаться.

— Тенишев у нас по особой части, — сухо вставил Шумилин, и в этой сухости я расслышал, что и ему разговор не по душе. — Контрразведка. Ему по должности всюду шпион мерещится, не сердчай на него. Найдёт он тебе двух лазутчиков на каждой версте — и доволен, и при деле. Ты, Вадим Аркадьич, мне человека не порти, он мне в поле нужен живой и не пуганный.

— Помилуйте, я и не порчу. — Тенишев поднялся неторопливо, одёрнул и без того безупречную гимнастёрку, спрятал пилочку в нагрудный карман. — Я люблюсь. Этаким самородок из донской глубинки. Редкость. — Он двинулся к двери мимо меня, неся себя ровно, как несут полную чашу, и уже у самого порога, не оборачиваясь, обронил так тихо, что услышал это, должно быть, я один: — Самородки, Беркутов, я страх как люблю разглядывать. На просвет. Чтоб видно было, что внутри.

И вышел, мягко прикрыв за собою дверь.

В горнице на минуту повисла тишина, только телеграф всё пощёлкивал за стеной да муха билась о стекло. Шумилин надел пенсне, тут же снял, потёр большим и указательным пальцами усталую переносицу.

— Не бери в голову, — посоветовал он мне уже мягче. — Породистый он, при родне в верхах, оттого и непуганный. Скучает тут, при штабе, без настоящего-то дела, вот и нюхает по углам, нервы себе щекошет. — Он опять придвинул карту и ткнул карандашом в синий значок

у излучины реки; для него этот разговор был уже кончен и забыт. — Так. Завтра поведёшь команду вот сюда. Поглядишь своими глазами, чем дышит этот узел, что за части подходят, крепко ли сидят. Языком живым поглядишь, не по бумаге. Сладишь?

— Слажу, — пообещал я.

Я уже поднялся уходить, когда он, не глядя на меня, всё в карту, обронил вслед негромко:

— И вот ещё что. Тенишева не дразни, но и не робей перед ним. Покуда ты мне в поле надобен и дело делаешь чисто — ты под моей рукой. А моя рука, — он усмехнулся в бородку, не подымая глаз, — в этой армии покуда кое-что весит. Ступай.

Я поблагодарил и вышел. А сам, выходя из тёплой горницы в холодные сени, думал уже вовсе не про узел и не про завтрашнее дело. Думал я о том, что рука, которая нынче кое-что весит, завтра может и обезручить, — а заступаться за чужака против своих породистых ему рано или поздно станет накладно.

* * *

До своих мы с Тимофеем ехали шагом, в сумерках, и долго молчали — тем молчанием, когда оба думают про одно и то же и оба не хотят называть это вслух.

Над селом дотлевал длинный летний закат, по дворам зажигали первые огни, тянуло печным дымом и чуть подгоревшим хлебом, где-то за плетнями баба сердито загоняла на ночь гусей, и весь этот тихий, домашний, обжитой вечер так не вязался ни с картами на холсте, ни с тем гладким человеком у окна, что мне делалось не по себе от самого этого несовпадения. А он не шёл у меня из головы. Я перебирал наш короткий разговор так и эдак, как перебирают после дела каждый свой шаг, выискивая, где оступился, где сболтнул лишнее. Лишнего вроде не сболтнул, держался ровно. А отделаться от него всё одно не мог — и поймал себя на том, что то и дело тру большим пальцем повод, взад-вперёд, взад-вперёд, как трут место, которое не чешется, а саднит.

— Слыхал? — проговорил наконец Тимофей. Он глядел прямо перед собой, между конских ушей, и ус его был не расправлен по обыкновению, а закушен углом рта. — «Был человек — и вышел весь». «На просвет». Это он, Степан Тихонович, не к слову молол. Это он тебя метил, тихо да загодя.

— Метил, — не стал спорить я.

Тимофей помолчал, пожевал губами, будто примеряясь к словам, которые давно носил, да всё не решался сказать вслух.

— Я тебя про твоё николи не пытал, — выговорил он тяжело, через силу. — Сам себе положил: не моё дело, чем ты под Каргинской переменялся и отчего знаешь, чего знать тебе неоткуда. Воюешь хорошо, людей бережешь пуще себя — мне того и довольно.

Он сжал в темноте кулак на эфесе пашки, подержал так и отпустил.

— А только скажу тебе вот что, командир. Красного я в поле за версту учую и упрежу, на то я и казак. А этого — нет. Этот сидит в чистой горнице, при лампе, перстенёк крутит да бумажки тихонько пишет — и в одной из них в недобрый час встанет твоё имя. Ту бумажку ни пашкой не разрубишь, ни в засаду не возьмёшь. Понимаешь, к чему клоню?

Я понимал. Понимал даже лучше, чем хотелось бы и чем мог сказать Тимофею.

Всю весну я бил врага, которого видел в лицо: карателя на майдане, заставу на перелазе, комиссара в кожанке с его списками. Против такого у меня были руки, голова и верные люди за спиной. А этот станет бить из тепла, бумагой, и срубить его нечем. Архип ведь упреждал меня ещё в восстании — держи, мол, при штабе ухо остро. Я тогда не поверил старику. Выходит, зря.

А пуще всего было скверно от того, что чуял-то Тенишев верно. Не умом — нюхом, но верно. Я и впрямь был не тот, за кого себя выдавал. Доказать он ничего не докажет: нет такого слова, под какое подвести то, что со мной случилось. Да людям этой породы доказательств и не

надо. Учужал чужого — и станет копать, тихо, годами, покуда не выроет не правду, так удобную ложь.

— Не достанешь его, твоя правда, — проговорил я наконец. — Стало быть, и тянуться нечего. Будем жить так, чтоб ему в той бумаге писать было не о чем. На виду, чисто, по делу.

— А он всё одно напишет, — упрямо отозвался Тимофей. — Такому повод не надобен. Сам сочинит.

— Тогда пусть пишет в пустое.

Тимофей хмыкнул — не весело, но спорить не стал, отвернулся.

Мы съехали в балку, к огням, и тёплый, нестройный гул лагеря накрыл нас разом, как накрывает с мороза натоленная изба. Пахло дымом, кулешом, конским потом — своим, живым, и от одного этого запаха у меня отпустило плечи. У ближнего костра заливался Гаврила, тренькала чья-то неумелая тальянка, Мишка, важничая, мешал в котле ложкой едва не с себя ростом.

— Ну как, Стёпа, — окликнул Гаврила, завидев меня, и щербатая ухмылка его блеснула в свете огня, — приняли тебя господа хорошие? Чай, по головке гладили за нашу-то весну?

— Гладили, — отозвался я, слезая с коня. — Одной рукой гладят, другой по карманам шарят. Штаб, Гаврила. Господское дело.

— А-а. — Он покивал со знанием. — Тогда понятно, чего ты смурной приехал. От господ оно завсегда так:ходишь человеком, выходишь виноватым. — И, довольный собою, загоготал, и кто-то у костра подхватил, и мне самому сделалось легче от этого простого хохота, в котором не было ни перстней, ни тихих слов про просвет.

Мишка подскочил, чуть не опрокинув котёл, — доложить, что кулеш поспел и что он нынче подстрелил из своей длинной винтовки зайца, а может, и двух, врёт, поди, про второго, — и я потрепал его по вихрам и велел сперва накормить людей, а хвастать после. Мальчишка просиял так, будто я ему крест навесил. Вот его-то, подумал я, мне и беречь — от пули, от всего; а теперь, видать, ещё и от чьей-то чистой бумаги, про которую он по молодости и не слышал.

Архип не смеялся. Он сидел поодаль, точил о камень нож и, когда я подсел к огню, поднял на меня выпцветшие глаза, оглядел разом — как оглядывал след на росе — и ничего не спросил. Он и так всё прочёл по лицу: старый пластун читал человека не хуже, чем землю.

— Дальше штаба, — обронил он тихо, мне одному, и вернулся к ножу. — Я ж тебе говорил: там не поле. Гляди в оба.

— Гляжу, дед, — отозвался я.

Я нащупал под рубахой отцов образок, тёплый, нагретый телом, и подержал в кулаке. В поле я этих людей берёт от пули. Теперь, видать, придётся и от чернил — а чернил рубаха не держит. Одно и оставалось: воевать так чисто, чтоб самому въедливому глазу зацепиться было не за что.

— Завтра дело, — сказал я Архипу. — Чужой узел. Тихо сходим, поглядим, чем дышит.

Старик попробовал пальцем лезвие, остался доволен.

— Дело — это хорошо, — кивнул он. — В деле оно проще. Вот ты, вот враг. А тут поди разбери, кто тебе друг, кто враг, а кто так — на просвет глядит.

И в этом он был прав, как бывал прав всегда. Назавтра я уводил своих в чужую ночь, к привычному и честному — к пуле, к коню, к оборванному проводу на тёмном перегоне. И чудно было сознавать, что туда, в опасное, мне ехалось легче, чем оставаться лишний час тут, в тихом селе, под одним небом с человеком, у которого заместо шашки — перстень да лист чистой бумаги.

Глава 3

Людей я взял шестерых — больше для такого дела и не надо, больше только мешает.

Архипа — за глаза и за уши; Гаврилу с обрезанным карабином вместо его громкого «люю-иса» — на случай, если придётся огрызнуться; Аникея, что без двух пальцев, а стрелял лучше всех в отряде; ещё двоих покрепче да поспокойнее — тащить, если возьмём кого тяжёлого. Мишку не взял. Мишка скукислся, но я не для того его берёг всю весну, чтоб класть теперь под чужой станцией ради лихости. Велел остаться при конях за балкой, в трёх верстах, и держать их в поводу осёдланными. Конь, оставленный на отходе, дороже всякой храбрости; об этом я знал твёрдо ещё с той жизни.

Дело было не простое ещё и тем, что шли мы не просто в разведку — шли на смотрины. Я знал: и Шумилин, и тот, с перстнем, станут ждать, чем кончится. Кадровые офицеры третий день мялись вокруг этого узла, и если мы, «табор», вернёмся пустыми — Тенишеву только того и надо: вот, поглядите на ваших самородков. А вернёмся с языком — и спеси у господ поубавится, и Шумилину будет чем нас прикрыть. Не любил я такой счёт — людьми платить, чтоб начальству нос утереть. Да счёт был не мой. Мой был — вывести всех назад, всех шестерых, сколько взял.

Перед выходом я оглядел своих в последний раз. Лишнего ничего: ни котелков, ни ложек, ничего, что брякнет в темноте. Шашки оставили — в ночном поиске шашка помеха, цепляется да звенит; взяли ножи да обрезанные карабины. Я прошёлся вдоль цепочки, подёргал на каждом снаряжение, как дёргают подпругу: не звякнет ли. Не звякнуло.

Тимофея я с собой не взял — оставил за старшего над отрядом. Он было насупился: привык всюду быть со мной, плечо к плечу, и не любил отпускать меня в опасное одного.

— Степан Тихонович, — сказал он, отведя меня в сторону, — пустил бы лучше меня, а сам с отрядом остался. Командиру не дело по чужим часовым ползать. Случись что с тобой — на ком всё?

— На тебе, — ответил я. — Потому и остаёшься. Положат меня — отряд поведёшь ты, и не хуже. А язык — работа тонкая, руками. Тут не числом берут, а тем, кто умеет. Я умею. Мне и идти.

Он пожевал ус, поглядел исподлобья, но смолчал — знал, что я прав, оттого и злился. Хороший он был заместитель: спорил со мной до решения, а после решения шёл и делал. Так оно и должно быть устроено в отряде, который хочешь сберечь, — чтоб всякий знал своё место и чтоб, выбей одного, дело не встало.

Вышли в сумерках, пешими. Коней повёл Мишка в укрытие, а мы пошли низами, по балкам, к тому узлу, на который Шумилин ткнул карандашом: станция на ветке, через которую красные подавали к фронту всё — патроны, хлеб, пополнение. Шумилину надо было знать, крепко ли там сидят и сколько их. Не по бумаге, не по слуху — живым языком. А язык — это уже моё ремесло; за него я взялся охотно, потому что в нём, по крайности, всё было понятно: вот ты, вот враг, вот дело. Не то что в чистой штабной горнице, где не разберёшь, кто тебе друг, а кто глядит на просвет.

Шли долго и тихо. Архип впереди, я за ним, остальные следом, шаг в шаг. Старик читал ночную землю, как другой читает книгу: где взять левее, обходя сухой бурьян, что хрустнет под ногой; где залечь, пропуская далёкий стук колёс; где переждать, пока пройдёт стороной чужой ленивый разъезд. Я шёл за ним и учился — не стыдись учиться у старика тому, чего не давала никакая выучка: чутью к этой конкретной земле, к этой траве, к этому ветру. А он, я знал, перенимал у меня другое — счёт, расчёт, повадку брать не нахрапом, а с умыслом.

Раз только и замерли всерьёз. Архип, шедший впереди, вдруг канул в траву — не присел, не лёг, а именно канул, исчез, — и я по одному этому его исчезновению, ещё ничего не видя сам, понял: чужой рядом. Мы залегли все, разом, без слова, вжались в тёплую от дневного солнца землю, и я слышал, как кто-то из новеньких задержал дыхание до боли. Из темноты, шагах в полста, наплыл конский топот: разъезд, четверо или пятеро, ехали шагом, переговариваясь вполголоса, и красный огонёк чьей-то сигарки качался во тьме, как блудный светляк. Они прошли так близко, что я различал слова — что-то про махорку, которой опять не подвезли, и про комиссара, который обещал, да всё брешет. Обычный солдатский разговор, какой я слышал на всех войнах: про курево, про начальство, про то, что посулили и не дали. Эти люди не знали, что в пяти шагах от них, в бурьяне, лежат шестеро, и один из лежащих держит их всех на мушке, и стоит мне шевельнуть пальцем — и кто-то из них не довезёт нынче свою обиду на комиссара до утра. Я пальцем не шевельнул. Не за тем шли. Топот растаял.

Архип поднялся из травы первым, отряхнул ладони и обронил мне в самое ухо — без насмешки, для порядка:

— Видал? Тут, Степан, не вычка надобна. Тут землю слушать. Земля завсегда наперёд скажет.

— Слушаю, дед, — шепнул я. — Учусь.

И это была чистая правда. Этого — ближнего, земляного — во мне не было. Взять его можно было только так: ползком, за стариковской спиной, по чужому росному бурьяну, класть ладонь туда, куда клал он, обходить то, что обходил он, и запоминать спиной, как ложится под тебя эта земля.

В одной из балок, где залегли переждать, Архип придвинулся ко мне вплотную и шепнул на ухо, одними губами:

— Версты полторы осталось. Дале — чисто, голо. Поползём.

Я качнул подбородком. И, лёжа в сырой траве, пока пережидали, поймал себя на неожиданном: подумал вдруг о доме. О том, что там, на Дону, нынче тоже ночь, тёплая, июньская, и Полина, может, сидит на завалинке, и коса у неё через плечо. Глупая, ненужная перед делом мысль — я отогнал её, как отгоняют комара. Перед делом о доме не думают. Я вдавил ладонь в сырую траву, пока холод от земли не пошёл в кость, и стал слушать станцию: далёкий стук колёс, лай собаки, чей-то оклик в темноте.

А дальше пошла работа.

* * *

Последние полверсты ползли на локтях, по голому, по сжатому уже кем-то полю, где укрыться было нигде, кроме борозды да редких копёнок. Архип задавал ход — медленный, нестерпимо медленный, по аршину, замирая после каждого движения. Я полз за ним и считал про себя, чтоб не заторопиться: раз-два — замри, слушай — ещё раз. Спешка тут убивает вернее пули. Раз костёр у станции взметнулся выше — кто-то подбросил соломы, — и мы вжались в борозду, в холодную росную землю, и лежали, не дыша, пока он не опал. Пахло пылью, соломой, чужим полем. Чужое поле — а дело на нём предстояло своё, привычное, и оттого руки были спокойны.

К станции подползли в самый глухой час, перед светом, когда часовой уже не верит, что нынче что-то случится, и стоит, привалившись к стене, думая о своём.

Их было — я насчитал — много. Эшелон на путях, костры, человек полтора, не меньше; оружие на платформе, пулемёты. Крепко сидели. Это само по себе уже было сведение, за которым нас послали: узел держат всерьёз, в лоб не возьмёшь, обойти — вот сюда, по-над балкой. Я запоминал, складывал в голове картинку, как складывают донесение, которое потом ляжет Шумилину на карту.

И не одни штыки я считал. Эшелон стоял под разгрузкой: десятка два теплушек, и от них к пакгаузу муравьиной цепочкой таскали ящики — патронные, судя по тому, как горби-

лись под ними носильщики. Не пополнение тут копили — припас. Готовили кулак. У дальнего костра кто-то в кожанке распекал железнодорожника за то, что состав не разгружен к сроку, и поминал какой-то четверг, к которому всё должно быть готово. Четверг. Я заложил это слово в память, как закладывают патрон в патронник: к четвергу красные что-то затевают на этом участке — и Шумилину про этот четверг знать дороже, чем число штыков. Опознал я и часть: у ближнего костра чернели бескозырки, доносился флотский говорок. Моряки. Из тех, кого красные бросают на трудные места и кто дерётся зло и насмерть. Стало быть, узел держат не абы кто.

Полдела было сделано: глазами я узел снял. Оставалось второе — взять живого, чтоб подтвердить то, чего глазами не увидишь: какие части, чего ждут, куда нацелены.

Часовой стоял с краю, у пакгауза, на отшибе от костров. Молодой, по голосу — совсем мальчишка; он зевал и тихонько мурлыкал себе под нос что-то протяжное, и от этого делалось муторно, потому что мальчишка был ничей не враг, а просто стоял свою ночь, как стоял бы и наш Мишка по ту сторону.

Архип глянул на меня. Я показал глазами: этого. Тихо.

Старик пополз. Я двинулся следом, забирая чуть вбок, чтоб закрыть отход. Всё шло как по писаному. Архип поднялся из травы за спиной у часового бесшумной серой тенью, и я уже видел, как это кончится — ладонь на рот, нож не в ход, только пугнуть, рывок, и потащим, — но тут мальчишка, на свою и нашу беду, в последний миг переступил с ноги на ногу, обернулся вполоборота и охнул.

Тихо охнул. А отдалось — на всю станцию.

— Стой! Кто идёт! — И сразу, без перехода, бабахнул выстрел в воздух, и второй, и от костров вскинулись, загомонили, заметались тени.

Дальше всё сделалось быстро и просто, как всегда делается, когда тихое сорвалось в шумное. Архип уже подмял мальчишку, заломил, сунул кляп; я подхватил с другого боку; мы поволокли его в балку, согнувшись, а позади нарастал крик, и захлопали выстрелы — пока вразнобой, вслепую, в темноту.

— Аникей! — бросил я через плечо.

Аникей не ответил — ответил его карабин. Раз, другой, расчётливо, по вспышкам: он бил по тем, кто совался за нами в темноту, и каждый его выстрел заставлял погоню приникнуть к земле, выгадывая нам шаги. Гаврила ударил с другого края, коротко, зло. Не чтоб перебить — чтоб осадить, отбить охоту бежать следом очертя голову. Мы выгадывали этим секунды, а секунды на отходе — это и есть жизнь.

Балка приняла нас в свою темноту. Я тащил языка за шиворот, он упирался, мычал сквозь кляп, и я не злился на него — он делал то же, что делал бы я. Сзади, по краю балки, ударил наконец пулемёт — поздно, наугад, длинной слепой строчкой, и пули прошли верхом, срезая бурьян. Кто-то из наших коротко, сквозь зубы, выругался.

А потом позади послышалось то, что хуже всякого пулемёта: дробный, частый топот. Пустили конных. Пеший в балке от конного не уйдёт — догонит и срубит на скаку. Я на бегу прикинул: до Мишки с лошадьми ещё версты две, не дотянем, срежут на чистом.

— Гаврила, Аникей — заслон! — выдохнул я. — По выходу из балки, в четыре ствола. Дайте им ткнуться — и за нами. Прочие — бегом, язык на мне!

Учить их было не надо. Двое приникли к скату, и, когда первые конные сунулись из темноты в горло балки, их встретил короткий, кучный, злой залп — раз, и ещё раз. Кто-то вскрикнул, забила, заржала раненая лошадь, и погоня потеряла тот разгон, без которого конному в темноте лучше не лезть на пешие стволы. Этих секунд хватило. Гаврила с Аникеем нагнали нас уже за поворотом, тяжело дыша.

Хватило бы и вовсе — да остался слепой пулемёт. Он всё лаял нам вслед со станции, наугад, длинными строчками поверх балки, и одна из тех слепых строчек на последней версте

нашла Демьяна — того из двоих, что тащил языка вместе со мной. Он и не вскрикнул — охнул, тихо, точь-в-точь как охнул давеча часовой, — и осел мне на руки, и под ладонью у него по боку толчками пошло горячее. Прошло навывлет, под рёбра.

— Демьян! Держись за меня, не падай! — Я подхватил его, язык повис на других, и три последние версты обернулись уже не отходом, а гонкой со смертью: дотащить, успеть, не дать истечь. Демьян хрипел, цеплялся за меня, шептал — не то молитву, не то имя, — а горячее всё шло и шло, и правая рука моя по локоть сделалась мокрой и липкой.

У условленного места ждал Мишка с конями. Демьяна взвалили в седло, привязали, чтоб не свалился; я сел позади, обхватив его, и так, шагом, чтоб не растряссти, повёл к своим, а прочие пошли наметом вперёд — с языком, за фельдшером. Станция за спиной палила в пустую темноту, праздная отбитый приступ, которого не было; а у нас приступ был, и стоил он Демьяновой крови, что капала с моего локтя в тёмную траву.

К своим я добрался уже на сером рассвете, ведя коня в поводу, с Демьяном поперёк седла. Сдал его фельдшеру — живого ещё, дышавшего, белого как мел. Дотянет ли до полудня, фельдшер не обещал: пожевал губами, развёл руками — навывлет под рёбра, это, мол, как Бог даст. Вывел я всех. Живыми. Да одного — на руках, в его крови по локоть, и доживёт ли тот до утра, не знал никто.

Только тут, сдав Демьяна, я и перевёл дух — и заметил, что правая рука всё не отходит, подрагивает, и ладонь, подсыхая в чужой крови, никак не разожмётся до конца. Я разжимал её другой рукой, палец за пальцем, и вытирал о штанину, а она снова сводилась в горсть, будто всё ещё держала Демьяна за ворот. Кровь на ней запеклась в складках, забилась под ногти, и как я ни тёр, всё оставалась там тёмной каёмкой. Я плюнул на ладонь, потёр ещё — не отошло. Так и оставил.

Языка к тому часу уже приволокли в расположение, и я зашёл на него глянуть. Совсем молодой — моложе нашего Мишки, может, годом-двумя старше; лицо в веснушках, глаза круглые, губа разбита (это уж мы, в драке). Он глядел на меня, как глядит пойманный зверёк, ожидая ножа. Я присел рядом и проговорил тихо:

— Не трясись. Резать не станем. Расскажешь, что знаешь, — и живи себе дальше. Нам твоя смерть без надобности. Нам твой язык надобен.

Он, оглушённый, понял, верно, не половину — но что-то в голосе дошло: обмяк, перестал дрожать. И то ладно. Не любил я возить пленных мёртвыми. Мёртвый молчит, а живой говорит; да и где-то этого веснушчатого ждала мать, и не было мне нужды слать ей похоронную там, где можно обойтись. Своих в эту ночь и так едва не убавилось.

* * *

Шумилин не спал — ждал. В горнице горела всё та же лампа, и карта лежала всё та же, и он стоял над ней, как стоял сутки назад, словно и не ложился вовсе.

Языка увели — им займутся свои, у них на то своя выучка, не моя. А я доложил Лавру Гавриловичу всё, что снял глазами: эшелон, оружие на платформе, пулемёты, полтора штабков, как стоят, откуда подходят, где у них слабина — вот тут, по-над балкой, если обойти. Он слушал, не перебивая, и карандаш его бегал по карте, переводя мои слова в синие и красные значки, и я видел по его лицу, что ложится это в его расчёт ровно, без зазора.

— И вот ещё, главное, — прибавил я. — Не пополнение они туда возят, а припас, патроны. Копят. И поминали меж собой четверг: к четвергу, мол, чтоб всё готово. Затевают что-то к четвергу на этом участке. А держат узел моряки, балтийские. Эти насмерть.

Карандаш замер над картой. Шумилин поднял на меня глаза, и в усталых этих глазах я впервые увидел не одобрение даже, а что-то сродни уважению.

— Четверг, — повторил он тихо. — Вот это, Беркутов, и есть язык. Не тот, что в мешке мычит, — этот номер части скажет, и только. А что у них на четверг замышлено, пленный и сам не знает. Это ты мне ушами принёс. Этому цены нет.

— Толково, — сказал он наконец, и было это у него, я уже понял, наивысшей похвалой. — Кадровые мои третий день вокруг этого узла ходят и носа не кажут — всё им бронепоезда мерещатся. А ты за одну ночь и узел снял, и языка приволок, и людей назад привёл. Все целы?

— Одного тяжело. Навылет, под рёбра, у фельдшера лежит. Дотянет ли — Бог весть. Прочие целы.

Шумилин коротко глянул на меня — не сказал ничего, только повёл подбородком, принимая к сведению. И я был ему за это благодарен: не стал ни ахать, ни утешать. На войне раненый — не новость, новость — что вышли. А для меня нынче и тот один, что лежал у фельдшера белый как мел, был ровно столько же, сколько все прочие, вместе взятые. Язык дело наживное. Человека назад не приведёшь, коли положишь.

— Целы, — повторил он и поглядел на меня поверх пенсне тем долгим взглядом, которым уже глядел однажды. — Вот что, Беркутов. Ты мне эти глаза береги. Глаза армии — дороже сотни шашек. Шашек у меня много, а глаз — раз-два и обчёлся. А без глаз и тысяча шашек слепа: рубит вслепую, куда попало, да не там, где надо.

У двери, я и не заметил когда, стоял Тенишев.

Он, верно, вошёл, пока я докладывал, и слушал из угла, и теперь шагнул ближе, поправляя ровный пробор, и на лице у него было такое выражение, словно ему подсунули вино, а оно отдавало пробкой.

— Лихо, — проговорил он своим мягким, без единой шероховатости голосом. — Право, лихо. Урядник за ночь делает то, чего не делают господа офицеры. — Он покрутил на пальце перстень. — Я одного не возьму в толк, Беркутов. Откуда у вас эдакое... чутьё на чужую беду? Где у врага слабина, где часовой зеваает, где балка выведет. Будто вы за них думаете. Будто вы их — изнутри знаете.

— На войне насмотришься, — сказал я.

— Насмотришься, — эхом отозвался он и улыбнулся одними губами. — Должно быть, насмотрелись. Очень уж много. — И, не прибавив больше ни слова, вышел, унося с собой свою учтивую тень.

Шумилин крикнул, снял пенсне, потёр переносицу.

— Не оглядывайся на него, — сказал он. — Делай своё. А узлом этим мы займёмся — да поскорей твоего четверга, не дадим им изготовиться. Ступай, отсыпайся; к вечеру понадобись. Будешь у меня глазами впереди.

Так первое моё дело на большой войне обернулось не одной ночной удачей. К четвергу красные на том участке не изготовились: наши ударили раньше, по моим глазам, и взяли узел малой кровью. Об этом я узнал после. А в ту минуту просто вышел в серый, наливающийся расцвет — усталый, с подсохшей на правой руке чужой кровью. Беркуты показали класс, Шумилин был доволен, даже Тенишев со своей пробкой во рту был, на свой лад, признанием. А радости не было. Одна усталость да ломота в отбитых за ночь руках. Да мутный звон в голове, как с недосыпу. Я довёл своих. Демьяна — может, и не довёл. Вот за них, за живых, и работал. А об остальном думать было нельзя — да и некогда.

У костра меня встретил Мишка — встрёпанный, не спавший, дождавшийся.

— Дядя Степан! — выпалил он, и веснушки его в рассветном свете были как брызги. — Тебе с Дону письмо! С оказией пришло, пока вы ходили! Цельный день у меня за пазухой лежит!

И он сунул мне в руку измятый, тёплый от его пазухи конверт, надписанный знакомой рукой. Я взял его и не вскрыл сразу — повертел, поглядел на буквы, выведенные не больно-то твёрдой рукой, и спрятал за пазуху, рядом с образком. Прочту после. Не на людях, не на бегу — а когда сядет солнце и можно будет остаться одному. Письма из дому так и читают: бережно, поодиночке, как пьют последний глоток воды в долгой дороге.

А пока стоял и держал ладонь на пазухе, где грелись теперь рядом две вещи с Дона — отцов образок да этот конверт, — и чувствовал, как вся большая, чужая, обречённая война: и станция, и язык, и Тенишев со своим перстнем — разом отодвигается куда-то далеко. А близко осталось одно: далёкий двор на Дону, тёплая июньская ночь и коса через плечо.

Глава 4

Письмо я прочёл только к вечеру, когда отвёл коня, обошёл посты, поел и нашёл наконец тот час, какой искал, — когда можно остаться одному.

Я нарочно тянул весь день, не вскрывал. Так на фронте берегут последний сухарь или последнюю папиросу: знаешь, что одна осталась, — и оттого не трогаешь, носишь при себе, и от одного того, что она есть, делается легче. Письмо из дому — та же папироса. Покуда не вскрыл, в нём ещё всё цело: и дом стоит, и все живы, и ничего худого не сказано. А вскроешь — и пойдёт жизнь, какая в нём есть, со всеми её смертями и недомолвками. Оттого я и тянул до вечера, до тихого часа, чтоб прочесть не на бегу, не вполглаза, а как след — медленно, разбирая каждую чёрточку.

Отошёл за коновязь, к одинокой ветле на краю поля, сел спиной к стволу и достал конверт. Он за день у меня под рубахой отсырел от пота, и буквы на нём чуть расплылись, но я их и так знал. Полина писала не часто и не складно, а почерк у неё был как она сама — то твёрдый, с нажимом, то вдруг сорвётся, словно рука заторопилась за мыслью и не поспела. Я долго держал конверт, не вскрывая. А после надорвал.

Писала она, как говорила, — будто и не письмо это, а так, через плетень переброшенные слова, с подковыркой, чтоб, упаси бог, не подумал чего лишнего.

«Здравствуй, Степан Тихонович, — стояло там. — Не знаю, дойдёт ли. Оказия с дядькой Евсеем на низа, а уж он передаст, коли не пропъёт по дороге. Дома всё ничего. Настя твоя выходила нашу корову, что было занедужила, — рукастая, в мать, видать. Отец твой ходит в церкву да на твою сторону всё поглядывает, на полночь. Молчит. Ты ж знаешь его — он и молчит-то с укором. Хутор отстраивается помаленьку. Только пусто на улице: всех, кто помоложе, как тебя, на войну разобрало».

И от этих знакомых неровных каракулей дом вставал передо мной так ясно, будто я и не уходил вовсе: низкая горница с земляным полом, выскобленным до желтизны, печь, что пахнет хлебом и кизячным дымком, образа в красном углу под расшитым рушником, отец на лавке — прямой, строгий, в чистой рубахе, потому как воскресенье, — и Настя, что снуёт от печи к столу, и тонкие руки её в муке по локоть. Я видел всё это до последней щербинки на столешнице, до последнего сучка в потолочной балке, до отбитого угла у печной заслонки и до того места на пороге, где доска протёрта сапогами до желобка. Молодое тело помнило этот порог, а старая душа по нему тосковала — по двору, в котором наяву не прожила ни единого дня, и оба мы, тело и душа, в этот час хотели домой одинаково.

Я читал, и за этими простыми словами вставал весь наш баз: и корова, и Настя у печи, и отец на завалинке, глядящий на север, куда ушёл я. Полина не написала «скучаю». Она такого не писала никогда. Но всё письмо, от первой строки, было про это, и я читал между строк так же легко, как читал ночью чужой след: вот тут она торопилась, а тут зачеркнула и не дописала, а вот тут поставила кляксу — должно, перо закусила, задумавшись.

Дальше шло про хозяйство, про то, что сено нынче хорошее, что дядька такой-то помер, а у такой-то родился, — обычная хуторская перепись живых и мёртвых, какую ведут в каждом дворе. А про отца твоего, писала она, скажу особо, зная, что тебе это дороже всяких сводок: «Тихон Маркыч совсем извёлся без дела да без тебя. Корову лечить — и то ему праздник, хоть при живом занятии. Всё ворчит, что нынешняя молодёжь пороху не нюхала, а сам, чуть стемнеет, выйдет за баз и стоит, на полночь глядит. Я ему наменил кваску вынесла — а он и не приметил, так и простоял. Ты б отписал ему отдельно. Не попросит — гордый, — а ждёт».

Я отложил письмо и посидел просто так, глядя в темнеющее поле. Отца этого, чужого мне по крови, я успел полюбить как родного — и видел его сейчас наяву: прямую спину, седую

бороду, глаза, глядящие на полночь, в ту самую темноту, куда ушёл сын. Надо будет отписать ему отдельно — что жив, что воюю честно, что помню его науку и его молчаливый укор. Непременно отпишу. Завтра же, как выпадет час.

Была там и одна строка, над которой я застрял. После всех новостей, будто меж делом, она бросила: «Тут сватался ко мне намерен Гришка, кузнецов сын, с богатого двора. Я отказала. Сама не знаю с чего — двор-то справный». И всё, и дальше опять про сено. Вот так, через плетень, не глядя: сватался, мол, богатый, а я отказала, и сама, мол, не знаю с чего. Я-то знал с чего. И она знала, что я пойму. На одну строчку, между коровой и сеном, чтоб, не дай бог, не вышло, будто она первая сказала. Я перечёл её трижды — и поймал себя на том, что сижу под чужой ветлой и ухмыляюсь в пустое поле, как дурак.

«Дурак ты, Сергей, — сказал я себе. — Тридцать восемь лет, а млеешь над строчкой про кузнецова Гришку, как недоросль». И сам же себе ответил: ну и пусть. Что у нас с Полиной выйдет — я не знал, и не сыскать было в моей памяти той страницы, где это записано наперёд. На неё одну мои синие стрелки не ложились.

А под самый конец, отдельным абзацем, чуть тесней прижавшись к краю листа, она написала то, ради чего, я понял, и бралась за перо.

«А ещё, Степан. Дошёл до нас слух, что Федя мой жив. Будто видали его наши пленные у красных, далеко, на самой полночи, при какой-то ихней части. Живой, значит. — Тут почерк сбился, поехал. — Ты, может, и встренешь его там, на севере-то. Мир тесен, а война и того теснее. Так ты сам знаешь, что я тебе тогда сказала, на проводах. Боле не пишу про это. Сам всё знаешь».

И всё. Ни просьбы, ни мольбы. «Сам всё знаешь». Она и тут осталась собой — не стала ни плакать на бумаге, ни заклинять. Просто напонила. Я и впрямь знал. Знал, что сказала она мне тогда, на проводах, отвернувшись, глядя в степь: что брат у неё один, что он хоть и дурак, хоть и к красным подался по своей правде, а всё ж родная кровь, и что если я там, на войне, его встречу — чтоб не его рукой. Я дал слово. И вот она напоминала — не словом даже, а тем, как тесно прижала эти строки к самому краю, будто боялась, что займут слишком много места.

Я сложил письмо вчетверо и сунул за пазуху, к образку. Стало их там теперь двое, домашних, греющих: отцов медный лик да Полинин неровный почерк. Я посидел ещё, глядя, как над чужим полем садится солнце — большое, красное, летнее, — и думал о том, что война и впрямь теснее мира. Что где-то там, впереди, на той самой полночи, куда тянутся синие стрелы на штабных картах, ходит сейчас по чужой земле Федя Журавлёв, которого я в глаза не видел, а уже задолжал ему жизнь. И что дорога моя ведёт туда же — прямо на него.

Долго я так сидел, покуда солнце не утонуло совсем и поле не залила синяя, сторожкая полутьма, в какой и звуки делаются дальше, и мысли тише. И, сидя, поймал себя на странном, нелепом почти спокойствии — том самом, какое находит на измотанного человека, когда он вдруг наткнётся на малое, тёплое, посильное и за него ухватится. Что у нас выйдет с Полиной, я не знал — и за это незнание держался теперь обеими руками крепче, чем за всё, что знал наперёд. Неровный её почерк был живой. Его я из рук не выпущу.

* * *

Назад к кострам я вернулся в самую кутерьму.

Лагерь гудел, как растревоженный улей. Где-то у штабных палаток читали вслух приказ, и весть катилась от костра к костру, обрастая по дороге, как снежный ком: идём на Москву. Главнокомандующий Деникин отдал директиву — всем армиям наступать, и конечная цель прямо названа: Москва, сердце России. Большой приказ, на всю войну. Я знал, что он будет, знал даже примерно когда, — а всё равно, услышав, ощутил то особое, холодное, что всегда находило на меня, когда послезнание моё сбывалось у меня на глазах: вот, значит, и эта стрелка легла на карту. Третьего июля. Хотя что мне было её запоминать — я и так знал, чем она кончится.

У штабных палаток, в кругу света, читали приказ вслух — писарь, звонким, ещё мальчишеским голосом, и слова падали в тёплую ночь тяжело и торжественно, как падают те слова, которым вес придан заранее. Кавказской армии — на Саратов и дальше на Нижний; Донской — на Воронеж и Рязань; Добровольческой — на Курск, Орёл, Тулу и на самую Москву. Имена городов, которые я знал наизусть. Только знал я их иначе, чем писарь: не вехами победы, а зарубками на палке, какой отмеряют падение. Воронеж. Орёл. Дальше Орла стрелка не пойдёт. Об этом в приказе не было ни слова, да и быть не могло; зато было много про сердце России и про доблесть. Слова красивые, торжественные, и писарь выпевал их звонко, а я под каждым слышал сухой стук — так падают костяшки на счётах, когда подбивают убыток. Теперь это стояло кругом меня живыми людьми и орало «ура».

А кругом ликовали.

— На Москву, братцы! — орал кто-то у соседнего костра. — Дошли! Теперь уж дошли!

Гаврила сидел у нашего огня и лыбился во весь свой щербатый рот. Он хлопнул меня по плечу так, что я едва устоял.

— Слыхал, Стёпа?! На Москву! Я ж говорил — добьём краснопузых! К Покрову, гляди, и по Москве пройдем, по самой! Эх, дай только дойти — я там, в Москве, первым делом в трактир, и чтоб половой бегал, и чтоб чаю с лимоном, как господа!

— С лимоном, — повторил я. — Размечтался.

— А чего! — Он сиял. — Заслужили! Чем мы хуже?

Тимофей сидел рядом, и он один не сиял — чистил винтовку, неспешно, обстоятельно, и на радостный галдёж поглядывал искоса.

— До Москвы, Гаврила, ещё дойти надо, — обронил он. — Это покуда на бумаге — Москва. А по земле до неё вёрст шестьсот, и на каждой версте — красный. — Он провёл тряпичей по затвору. — Я так скажу: рано в трактир собрался. Сглазишь.

— Тыфу на тебя, ворон! — отмахнулся Гаврила. — Вечно ты каркаешь.

Мишка крутился тут же, и глаза у него горели, как у кота на сметану.

— Дядя Степан, а в Москве, говорят, Кремль золотой! И царь-пушка! Дойдём — поглядим, а? Ты ж бывал, поди, в больших городах, видал?

— Видал, — сказал я. И не соврал ведь: видал я Москву. Большую, шумную, не эту — другую, через целый век, которую этому мальчишке и во сне не приснится. Но об этом я промолчал, как молчал всегда. — Поглядим, Миша. Дай срок.

Один Тимофей нет-нет да и косился на меня. Он за эти месяцы выучился читать моё лицо лучше, чем мне бы хотелось, — и теперь, в общем гаме, заметил то, чего другие в радости своей не заметили: что командир их не радуется. Заметил и при всех не сказал ничего, только после, когда Гаврила с Мишкой отвлеклись на чей-то рассказ, придвинулся и обронил вполголоса, в огонь:

— Ты чего, Степан Тихонович, как в воду опущенный? Все ликуют, а ты будто хоронишь кого.

— Рад я, — отозвался я. — Чего ж не рад. Просто, Тимофей, я так держу: загадывать рано. Раньше срока радоваться — последнее дело, сглазишь. Ты ж сам Гавриле о том толковал.

— Толковал, — согласился он, помолчал, пожевал ус. — Только я-то по примете, показачьи. А ты говоришь так, словно наперёд чего знаешь. — Он не глядел на меня — глядел в огонь. — Я тебя не пытаю. Сам ведаешь, про твоё я не пытаю. А примечаю. Молчу да примечаю.

И замолчал. И я смолчал. Так и сидели мы, двое, над одним огнём, и между нами лежало то, чего ни он не называл, ни я; и оттого, может статься, держались мы друг за друга крепче иных, что всё про всех знают.

А кругом всё гуляло. Где-то завели песню — нестройно, в несколько глоток, ту самую, протяжную, про Дон-батюшку, — и другие костры подхватывали; кто-то пустил по кругу баклажку, кто-то палил в звёздное небо, и давешний есаул из чистеньких бегал и унимал: не

пали, мол, патрон казённый, — да куда там. Радость в людях копилась всю весну — под террором, под отступлением, под страхом, — и теперь, дорвавшись, хлестала через край. И я их понимал. Им нужна была эта Москва — не город даже, а слово, в которое можно верить, чтоб идти дальше. Отними у них это слово — и завтра половина разбредётся по курениям. Оттого я и молчал — не потому, что нельзя сказать, а потому, что отнимать у человека веру, которой он жив, последнее дело, даже когда вера ложная. Особенно когда ложная.

Я сидел у их огня, среди их радости, и улыбался, чтоб не выбиваться, и поддакивал, — да всё невпопад: смеялся, когда шутка уже отсмеялась, кивал на полслова позже, чем надо, и руки мои сами собой обламывали хворостину да совали в костёр, палочку за палочкой, лишь бы делать хоть что. Кто-то сунул мне баклажку — я приложился, а вкуса не разобрал, будто пил не хмельное, а колодезную воду, и утёр губы рукавом просто по привычке. Я любил этих дурней — и Гаврилу с его лимоном, и Мишку с его царь-пушкой, и даже ворчуна Тимофея. Любил, а радости их разделить не мог: моя-то радость осталась там, на пожелтевшей странице, а их была вот она, живая, у костра, — и цену ей ведал я один. Сидеть среди неё и улыбаться было тяжелей всякого боя.

Я не выдержал, поднялся и пошёл проведать Демьяна — благо лазарет был тут же, за бугром.

Демьян был жив. Лежал на соломе под навесом, бледный до синевы, обмотанный по самые рёбра, дышал коротко и часто, — но жив. Фельдшер, утирая руки о фартук, сказал, что вытянул: кость не задело, кровь вовремя унялась, а теперь поутру повезут парня в тыл, в большой лазарет, отлечиваться. К войне он уже не годен — месяца на три, не меньше, а как срастётся да как сила вернётся — может, что и насовсем. Я постоял над ним. Кругом, в полумраке навеса, лежали и стонали другие — раненые с дневных стычек на фронте, чужие мне, безымянные; а этот был мой, я его знал, я держал его на руках, и кровь его, подсыхая, всё ещё стягивала мне кожу на правой ладони.

Демьян приоткрыл глаза, узнал меня, шевельнул губами. Я наклонился.

— Вывез... — прошептал он едва слышно. — А я уж думал, бросишь там, в балке. Тяжёлый я был, кровил. Бросить бы — оно б и легче.

— Своих не бросаю, — сказал я. — Лежи, не трать силу. Отвоевался покуда. Поправляйся да возвращайся — без тебя скучно будет.

Он чуть улыбнулся, краем губ, и закрыл глаза, успокоенный. А я шёл обратно к кострам, к чужому ликованию, и думал об одном: вот и эта Москва, про которую они там орут, уже стоит мне одного Демьяна. Один Демьян — за город, которого мы не возьмём. А впереди ещё вся дорога, и на каждой версте её свой Демьян, и свой счёт.

* * *

Ночью, когда лагерь уgomонился, я при огарке сел писать ответ.

И не смог. Сидел над клочком бумаги, грыз карандаш, как Мишка, и не знал, что писать. Правду писать было нельзя — да и какая бумага снесёт такую правду. Что не дойдём до Москвы? Что всё их ликование — впустую? Нет. Этого не пишут. От такого только руки опустятся у того, кто прочтёт, а легче не станет никому.

Я сидел и думал, что чудно устроен человек: мог бы я написать ей такое, чего не знает ни один генерал, ни один главком, — всю эту войну до последнего дня, по числам. Мог бы упредить: не верь, мол, ликованию, береги хлеб, береги Настю, готовься к худу. Да что толку? Письмо идёт месяц, оказия пьяная, а беду на бумаге не разделишь — только напугаешь зря. Знание моё было как тот же образок: носишь при себе, греет ли, давит ли, а отдать никому нельзя, передать нельзя. Хоть в лоб им бейся, хоть на колени встань посреди лагеря да закричи — не поверят, а поверят, так возненавидят.

Карандаш был обгрызен с двух концов, бумага серая, обёрточная — в ней, видать, давеча заворачивали сахар. Я разгладил её на колени и стал писать, медленно, печатными буквами,

как пишут люди, от пера отвыкшие. И с каждой строкой делалось чуть легче — не оттого, что писал правду, а оттого, что не писал её. Что хоть на бумаге, хоть для неё одной, я был не пророк с проклятым своим знанием, а просто Степан, что жив-здоров и кланяется родне.

И я написал, как все пишут: что жив-здоров, что служба идёт, что начальство ценит (это и Тенишеву бы понравилось — «ценит»), что кланяюсь отцу Тихону и Насте. А под конец, отдельной строкой, прижавшись к краю листа, как и она, написал ей в ответ только одно, без объяснений, потому что она и так поймёт:

«Слово помню. Будет случай — сдержу. Не его рукой».

Больше ничего. Сам всё знаешь.

Запечатал, надписал, отложил — отдам поутру тому же дядьке Евсею, что повезёт оказию на низа. А сам всё думал про Федю. Чудно: я его в глаза не видал, не знал ни голоса, ни лица — а должен был теперь, ежели встречу в бою, в горячке, в дыму, среди сотен чужих лиц, как-то его углядеть и не дать никому, в том числе и себе, его тронуть. Полина просила за брата — а выходило, просила и за меня: чтоб не нажил я на душу ещё и этого, её крови. Слово, данное бабе на проводах, оборачивалось на войне задачей мудрёней всякой Шумилинской: как уберечь в бою одного-единственного врага, которого даже в лицо не знаешь. Но слово есть слово. Дал — держи. Я перебрал в памяти всё, что знал о Феде из Полининых обмолвок: молодой, упрямый, ушёл к красным за землю, за свою мужицкую правду. «Землю — пахарю». Этого было мало, чтоб узнать его в лицо. Но с этого я и решил начать — расспрашивать пленных, слушать, разведывать. Своё ремесло. Глаза армии сгодятся и на то, чтоб сыскать в чужом войске одного парня да обвести его, дурака, вокруг беды.

Я задул огарок и долго лежал в темноте, слушая, как ворочается и вздыхает во сне лагерь, как перекликаются часовые, как где-то далеко, на полночи, погромыхивает — не то гроза, не то уже и не гроза. И думал о Феде Журавлёве, которого мне теперь искать в чужих краях, чтоб уберечь, — врага, которого я обещал не тронуть. И о том, что война наша, такая большая, такая громкая, вся, в сущности, состоит из таких вот тихих, тесных, к самому краю прижатых слов: уберечь, дойти, не его рукой, своих не бросаю.

А под утро по лагерю пополз слухок — пока ещё шепотком, от вестового к вестовому, — что собирают будто бы конную силу, большую, и не для фронта, а для чего-то иного, дерзкого, в обход, в тыл. Я поймал этот слухок одним из первых и весь подобрался — не от страха, от узнавания. Вот оно. То, чего я ждал, сам ещё не зная, что жду. Глубокий конный рейд по красным тылам, в самую глубь, где ни фронта, ни тыла, — и всё во мне отозвалось на эти слова, как отзывается затёкшая рука, когда в неё возвращается кровь: колко, больно и живо.

И понял разом две вещи. Первую — что мне туда надо. Не за славой и не за дерзостью: там, в тылу, далеко на полночи, ходит сейчас и Полинин Федя, которого я обещал сберечь, и тот, другой, — тихий, в кожанке, в очках, которого я не догнал по весне и который ждёт меня где-то там, впереди, терпеливый, как кредитор. В рейде дороги наши сойдутся. Все три разом.

А вторую вещь я понял такую: чтоб попасть в тот рейд, надо мне к Шумилину, и надо нынче же поутру, куда конную силу не разобрали без меня. Я закрыл глаза и заставил себя уснуть — впрок, как спят перед дальней дорогой. Спать оставалось часа три. Но и трёх хватит, коли человек привычный: сон — такой же припас, как патрон, и тратить его надо с умом. Этому я выучился ещё там, в той жизни. Закрыл глаза — и провалился разом, без снов, как в колодезь.

Глава 5

К Шумилину я пошёл, едва развиднелось, — покуда конную силу не разобрали без меня. В штабном селе ещё спали, только дымили первые трубы да перекликались петухи по дворам. У крыльца хлеботорговца дома топтались сонные вестовые, грелись о кружки с кипятком. Меня пустили не сразу — урядник в папахе спозаранку не та птица, ради которой будят начальство; но я сказал, что от войскового старшины Шумилина по неотложному, и это подействовало: имя его в этом штабе кое-что весило, как он и обещал. Он уже сидел над картой — словно и не ложился. Выслушал, не перебивая, как всегда, а когда я кончил, отложил карандаш, сдвинул пенсне на лоб и долго, изучающе на меня посмотрел — так смотрят на вещь, которую никак не выходит разложить по полочкам. — Складно говоришь, — сказал он наконец. — Только вот что чудно, Беркутов. Я про эту конную затею третий день думаю, и наверху про неё пока шепчут вполголоса, а ты с утра пораньше уже знаешь и просишься. Откуда? Вот оно. Я ждал этого вопроса и заранее знал, что отвечать на него правдой нельзя. Правду сказать было нельзя — её не снесёт ни одна бумага; такую правду не выложишь и на духу, а не то что в штабной избе, при пенсне да при карте. Я подобрал у полы папаху, что вертел в руках, и ответил, как давно научился отвечать, — наполовину: — А чего тут знать, Лавр Гаврилович. Само просится. Фронт у красных жидкий, в ниточку растянут, тылы голые. Сунь туда конницу — не лоб в лоб, а в обход, в мякоть, — и она там одна нашумит больше, чем три дивизии на фронте. Старая казачья наука: бей не в латы, а под латы. Я так мыслю — кто-то наверху это уже смекнул. А раз смекнул — значит, скоро. Вот я и тороплюсь. Он слушал, не перебивая, и я, видя, что слушает по делу, выложил ему и остальное — то, что обдумал ночью, лёжа без сна. Что красная армия держится не штыком, а рельсой: подвоз, склады, штабы — всё на узлах, всё на проводе. Перережь корпусу путь, спали базы, оборви связь — и фронт у них сам осыплется, без всякого лобового штурма, потому что нечем станет кормить и нечем командовать. Что конный корпус в их тылу — это не набег за добычей, а нож под рёбра всей их машине, ежели только не растащить его по дворам за барахлом. Я говорил это просто, по-казачьи, как про знакомое ремесло, привычное с дедов. Шумилин не должен был услышать в моих словах ничего, кроме толкового фронтовика. И, кажется, не услышал: только раз, посреди моей речи, коротко кивнул сам себе, будто складывал сказанное в какую-то свою, давнюю мерку, и мерка сходилась. Он помолчал, постукивая карандашом по карте, потом ткнул им в одну точку — там, где синяя жилка реки делала петлю. — Вот тут, — проговорил он раздумчиво, будто сам с собой, — фронт у красных на стыке двух армий. Шов. А шов, ты верно сказал, всегда слабее цельного. Ежели рвать — то здесь. Я глянул на карандаш, на ноготь, вдавленный в бумагу, — и едва не вздрогнул: он ткнул почти туда, где, я знал, корпус и прорвётся через считанные недели. Старый волк дошёл до шва сам, за один разговор — картой да седой своей памятью. Я подержал в себе это, как держат под языком горячее, и промолчал. Моё знание тут было лишним. — Здесь, Лавр Гаврилович, — сказал я. — В самый шов. — То-то. — Он откинулся, поглядел на меня. — Глаза мне, Беркутов, нужны как раз на этот шов: кто пройдёт да поглядит, крепко ли держат стык, где жиже, где гуще. Тому и место в голове рейда. Хочешь это место? — Затем и пришёл. Шумилин пожевал бородку. Довод был чистый, тактический, без единой щербинки, — и он это видел. — Мыслишь ты верно, — проговорил он. — Слишком верно для урядника, вот в чём беда твоя. — Он усмехнулся, но глаза остались серьёзными. — Ну да ладно. Дело твоё мне по нраву. Рейдовой группе нужны глаза — а лучших глаз, чем твои, у меня нет. Похлопочу. И тут от двери раздалось знакомое, мягкое: — Похлопочете, Лавр Гаврилович, как же иначе. Тенишев. Опять он вошёл неслышно и опять слушал из угла. Шагнул в круг света, покручивая на пальце перстень, и улыбнулся мне — той своей улыбкой, от которой делалось зябко. — Я только одного в толк не возьму, — продолжал он, ни к кому будто бы не

обращаясь, разглядывая свой перстень. — Откуда наш самородок прознал про рейд раньше штаба? Затея, говорите, секретная, шепчут вполголоса. А урядник — вот он, уже с утра в дверях, готовенький. Будто кто шепнул ему на ушко. Или он сам себе шепчет — оттуда, откуда и всё прочее своё знает. — Он поднял на меня светлые глаза. — Так откуда, Беркутов? — С фронта, ваше благородие, — сказал я ровно. — Кто на войне с пятнадцатого года, тот за версту чует, куда дело клонится. Тут не ум нужен — нюх. У меня он есть. У вас, может, и нет — оттого и дивитесь. Улыбка его чуть подвяла. — Нюх, — повторил он. — Что ж. Поглядим на ваш нюх в деле. В рейде, говорят, всякое случается. Иной с нюхом туда уходит, а назад — не возвращается вовсе. — На всё воля Божья, — сказал я. — В рейде, ваше благородие, и нюхастый сгинуть может, и чистенький. Война. * * * Решал, однако, не Шумилин и не Тенишев. Решал корпус — тот самый, что собирали для рейда, четвёртый Донской конный, под началом генерала Мамантова. Туда нас с Шумилиным и вызвали через день — на смотрины. Штаб корпуса стоял на хуторе побольше нашего, и народу там толклось вдвое: ординарцы, вестовые, командиры дивизий, и над всем этим — то особое, наэлектризованное гудение, какое бывает перед большим делом, когда люди ещё не знают точно, что будет, но нутром чувствуют — будет, и скоро. Мамантова я увидел впервой. Грузноватый, с тяжёлым взглядом из-под бровей, он сидел вполоборота к карте и слушал доклады вполуха, а сам, я заметил, всё поглядывал в окно, на конные сотни, что собирались на выгоне, — и в этом его взгляде было больше, чем во всех докладах: он считал свою конницу, как скупец считает золото, и прикидывал, на что её хватит. Человек дела, не бумаги. Это я понял сразу и обрадовался: с таким сговоримся. Шумилин представил меня коротко, по-деловому: вот, мол, командир особой команды, тот самый, что за ночь снял узел и взял языка, когда кадровые три дня мялись. Мамантов перевёл на меня тяжёлый взгляд, оглядел — папаху, Георгия, сапоги. — Беркутов, — буркнул он. — Слышал. Это твои «беркуты»? — Мои, ваше превосходительство. — В тыл со мной пойдёшь? Там, брат, не фронт. Оттуда могут и не выпустить. Назад — через всю красную армию рубиться будем. — Затем и проситься пришёл, — сказал я. — В тылу от моей команды толку втрое против фронта. Мы тихо ходим. Где сотня нашумит — мы пройдем и не аукнем. — Тихо, говоришь. — Мамантов глянул снова в окно, на свою конницу, прикидывая. — Тихие мне нужны. Громких у меня и так полон выгон. И уже открыл было рот сказать своё слово — да тут из-за его плеча подал голос штабной, спесивый войсковой старшина из кадровых, тот самый, которому, как я понял после, Тенишев успел шепнуть. — Ваше превосходительство, дозволейте усомниться, — проговорил он негромко, наклонясь к генералу, но так, чтоб слышали все. — Урядник. Из мужиков, вчерашний повстанец. Станный, сказывают, — переменялся после контузии, сам не свой. И контрразведка им, между прочим, интересуется. А мы ему — глаза корпуса, в тыл, где всё на одной ниточке. Не темна ли лошадка? И качнулось. Мамантов нахмурился, побарабанил пальцами по столу. У доводца была своя правда: кто я ему, в самом деле? Урядник без роду, с тёмным душком, которым уже занялась особая часть. Грузный генерал колебался — я видел по лицу, — и место моё в рейде, а с ним и всё, ради чего я пришёл, повисло на волоске. И тут вступил Шумилин. — Ваше превосходительство, — сказал он спокойно, без нажима. — За странности его не поручусь — не моё дело, контужен он или какой. А за дело поручусь. Головой. Этот урядник за одну ночь снял узел, что мои кадровые три дня обходили, языка взял и людей живыми вывел. Дайте ему рейд — а ежели подведёт, спросите с меня, с Шумилина. Я отвечу. Он сказал это ровно, не повысив голоса и не глянув на штабного, — будто и не было того рядом. Только пальцы его, лежавшие на карте, на слове «головой» чуть притиснули бумагу. Я подсчитал в уме, чем оно ему выйдет, оступись я где, и подсчёт вышел недобрый. Мамантов перевёл взгляд с него на меня, потом обратно — и тяжёлое лицо его разгладилось. — Под твою голову, Лавр Гаврилыч, беру, — буркнул он. — Под твою. Гляди, отвечаешь. — И мне, отвернувшись уже к карте: — А ты, тихий, помни: за тебя поручились. Не подведи человека. — Не подведу, — сказал я. И это была не присяга начальству — это был долг Шумилину,

а долги такого рода я отдавал всегда. Штабной поджал губы, смолчал. Но взгляд, каким он смерил меня, отъезжая, я запомнил — холодный, как у Тенишева, только глупее. Тенишев был враг умный, оттого опасный; а этот — дурак при власти, что порой не легче: умного обведёшь вокруг пальца, а дурак упрётся рогом, сам не зная, чего творит, и через его-то дурь чаще всего и гибнут. Я вышел из штабной избы на крыльцо и постоял, оглядывая корпус, к которому меня только что приписали. На выгоне, сколько хватал глаз, собиралась конница — сотня за сотней, дивизия за дивизией; ржали кони, скрипели сёдла, пылили под копытами вытопанные хлеба, и над всем стоял тот тяжёлый, гулкий, нутряной гул, какой издаёт лишь большая конная масса, сама ещё не знающая своей силы. Шесть тысяч сабель, говорили. Да три тысячи штыков в придачу, да орудия, да броневики с бронепоездами — целое войско, кулак, какого эта степь, может, и не видывала. И весь этот кулак готовились занести над красным тылом. Сила его пьянила даже меня — а я-то один тут знал, что всякий кулак, как ни тяжёл, рано или поздно разжимается. Знал — и гнал от себя: нынче кулак был полон, и любоваться им было любо. А на крыльце меня уже поджидал Тенишев — увязался следом, будто по делам контрразведки, а на деле чтоб подсыпать мне на дорогу своей соли. Подошёл, покручивая на пальце перстень, с той самой улыбкой. — А вы, Беркутов, в тылу-то поосторожнее, — сказал он почти ласково. — Там ведь не только красные полки. Там у них и особый отдел работает, и люди в нём — не нам чета, серьёзные. Иные ваши старые знакомцы, говорят, как раз там, в тылу, обретаются. Помните комиссара вашего, по весне-то? Который от вас ушёл? Так он, по нашим сведениям, нынче там и сидит, в тылу, по особой части. Глядите, не свидитесь. И ушёл, очень довольный, что подсыпал мне на дорогу этой соли. А я остался стоять, и кураж мой враз остыл. Северин. Значит, верно — он там, впереди, в том самом тылу, куда я сам только что напросился. Тенишев думал меня этим припугнуть. А вышло наоборот: он, сам того не зная, поднёс мне ещё один резон идти. Их теперь набиралось трое в этом тылу: рейд, который мне надо провести; Федя, которого надо сберечь; и Северин, с которым у меня с весны не дочтён счёт. Все там. Все на полночи. Северина я не видел с весны — с того дня, как он ушёл от нас в Вёшенской: ушёл чисто, без суеты, как уходит человек, твёрдо знающий, что ещё вернётся. Я тогда не успел его достать. Он стоил мне многих — и тех станичников, кого он положил по своим спискам, и тех из моих, кто лёг, пытаясь те списки сорвать. Счёт меж нами остался не дочтён, и я носил его в себе, как носят занозу: не болит, покуда не тронешь, а тронешь — отдаёт до самого сердца. И вот выходило, что тыл, в который я напросился за рейдом да за Полининым братом, держит в руках и третью мою заботу — самую старую. Что ж. Тем больше резону идти. Не за тем я напрашивался в это пекло, чтоб теперь пугаться, что в нём сыщется и Северин. Скорее наоборот: я даже обрадовался тихой, нехорошей радостью, какую сам в себе не любил, — что дороги наши всё-таки сойдутся.* * * К своим я вернулся уже под вечер — с бумагой, по которой команда «беркуты» придавалась четвёртому Донскому конному корпусу как отдельная разведывательная часть. Это была не прежняя партизанская вольница и не должность «при штабе на побегушках». По этой бумаге за мной числилась теперь отдельная разведывательная часть — со своим участком, своим довольствием, своим местом в боевом расписании корпуса; меня, вчерашнего разоружённого хуторянина, что весной ходил под оккупацией без шашки, вписали наравне с есаулами да войсковыми старшинами, и хоть чином я оставался всё тот же младший урядник, а дело доверили офицерское. За весну с небольшим я прошёл путь, какой иной кадровый не проходит за всю службу. Гаврила, как прослышал, что мы теперь «отдельная разведывательная», аж присвистнул: вот, мол, Стёпа, выбились в люди — гляди, скоро и погоны навесят. Я отмахнулся: не за погонами шёл. Шагнул высоко — что говорить. А дальше будет видно. Нынче выпал шаг вверх, и я его сделал. Своим объявил у костра, коротко. — Завтра выступаем к корпусу. Идём в рейд. В тыл к красным, глубоко, всем корпусом. Назад — с боем, если выпустят. Кто не хочет — держать не стану, переведу на фронт, без обиды. Дело добровольное. Помолчали. Потом Гаврила сплюнул в костёр и осклабился во весь щербачик.

тый рот:— В тыл? К ним в самое нутро? — Он гулко хлопнул себя по колену. — Вот это по мне, Стёпа! На фронте что — лежи в окопе да жди пули. А в тылу — там душа развернётся! Склады, обозы, кассы ихние — эх, погуляем!— Погуляем, — проворчал Тимофей, и по тону было ясно, что он думает иначе. — Ты, Гаврила, не про кассы думай, а про обратную дорогу. В тыл-то войти — ума не надо. А вот выйти — Он поглядел на меня. — Степан Тихонович, дело-то лихое. Из такого рейда половина не ворочается. Ты это знаешь?— Знаю, — сказал я. И не соврал на этот раз ни на полслова. — Потому и беру только тех, кто сам пойдёт. И потому пойду сам, впереди, а не пошлю. Кто как, а я иду. Там, в тылу, есть у меня дела, каких на фронте не сделать. Архип, молчавший до того, неторопливо понюхал табак из рожка, чихнул в кулак и сказал — тихо, веско, как умел один он:— В тыл — это по-нашему, по-пластунски. На фронте казак — мясо, его в лоб гонят. А в тылу казак — волк. Я пойду, Степан. Где ж мне ещё и сгодиться, как не там. — Он усмехнулся в седые усы. — Да и поглядеть охота на ту сторонку. Сказывают, чужбина, а хлеб такой же родит. Любопытно. И от стариковских этих слов мне сделалось спокойнее. Архип не храбрился и не врал; он просто знал своё ремесло и шёл его делать, как идёт косарь на покос — без страха и без удали, по привычке к труду. Такие, как он, и вытягивают на войне самые гиблые дела — не геройством, а ровным, неспешным умением. Будь у меня в рейде хоть пятеро таких, я бы и чёрта не побоялся. Мишка, конечно, рвался тоже — да ещё как. Подскочил, глаза горят:— Дядя Степан, а меня? Меня возьмёшь? Я ж при обозе сгожусь — коней стеречь, патроны подносить! Не подведу! Вот тут я задумался крепко. Брать мальчишку в рейд, из которого половина не ворочается, — душа не лежала; а оставить его тут, на фронте, без меня, без своих, среди чужих — тоже боязно. И так худо, и эдак нехорошо. Я поглядел на него — шуплого, веснушчатого, с винтовкой не по росту, — и увидел вдруг не его, а ту мать, что где-то ждёт своего веснушчатого, как ждёт сейчас Демьянова мать, как ждёт Федю Полина. Сколько их, ждущих, по обе стороны фронта.— Возьму, — сказал я наконец и сам не знал, верно ли решил. — При обозе, при конях. Из седла без приказа — ни ногой. Полезешь в драку — выпорю и отправлю в тыл. Понял?— Понял! — просиял он так, будто я ему не порку посулил, а Георгия на грудь. — Спасибо, дядя Степан! И умчался хвастать, что идёт в рейд. А я подумал: вот и ещё одного взял под свою руку в это пекло. Да только оставь его — он бы за мной всё одно увязался. Такой народ. А ночью, когда улеглись, я долго не спал. Лежал, глядел в чёрное июльское небо в крупных, чужих ещё звёздах, и думал не о рейде даже, а о том, как чудно сходятся дороги. Вот напросился я в тыл — за делом, за солдатской удалью, за тем, чтоб провести корпус, как умею. А нёс меня вперёд, в самую глубь, не размах его и не дерзость. Я нашарил под рубахой стариковский образок, тёплый от тела, гладкий, обтёртый чужими ладонями до костяного блеска, и подержал его в кулаке. Вот за чем я шёл. Большая война, генеральский рейд, корпус в шесть тысяч сабель — а вело меня туда это. Я перебрал их всех в памяти, одного за другим, как перебирал ночами на фронте, — тех, кого завтра поведу за собой в чужую глубину. Ворчуна Тимофея, что пойдёт, хоть и не верит в добрый конец, — пойдёт оттого, что не умеет не идти за своим командиром. Гаврилу, что рвётся в тыл, как мальчишка на ярмарку, не разумея ещё, что ярмарка эта кровавая. Старого Архипа, который один из всех знает истинную цену такому делу — и всё равно идёт, потому что только там, в тылу, он, старый волк, и чувствует себя живым. И Мишку, веснушчатого, которого я только что, против всякого ума, взял с собою и за которого теперь в ответе перед той далёкой матерью, какой и в глаза не видел. Их жизни складывались теперь в мою котомку, как складывают патроны перед делом. Пронести её через весь красный тыл и вынести целой, сколько сумею, — моё было дело. Я лежал и словно взвешивал её на руке, эту котомку: пятеро, и каждый — не патрон, каждого зовут, и у каждого где-то мать либо девка. Вот это, а не синие стрелки на картах, не дойти и не сгинуть, — вот это и держало меня без сна под чужими звёздами: счёт живых, которых я взял под руку и должен сберечь. Где-то за полем, в темноте, всхрапывали кони на коновязи, перекликались часовые, и далеко-далеко, на полночи, куда лежала

наша дорога, нет-нет да взблёскивало по горизонту — то ли поздняя летняя зарница, то ли уже и не зарница, а беззвучный отсвет настоящих, чужих орудий, которых отсюда было не слышать. Я лежал и долго глядел на эти дальние немые сполохи — на то, как они вспыхивали и гасли за чёрной кромкой поля, беззвучные, будто кто-то там, на полночи, ворочал в темноте раскалённую кочергу, — и сон не шёл ко мне, не оттого, что было страшно, а оттого, что всё во мне уже снялось с места и тронулось туда, к этим зарницам, и только тело ещё лежало под чужими, не выученными мной звёздами и нехотя дожидалось рассвета. Рядом, укрывшись с головой, посапывал Мишка; чуть дальше всхрапывал во сне Гаврила, и даже сквозь сон лицо у него было довольное, как у того, кому на завтра посулили ярмарку; и за всех их, спящих, за их завтрашний день и за их обратную дорогу отвечал теперь я один — и это, а не зарницы и не рейд, не давало мне уснуть. Скорей бы рассвело. Встать, сесть в седло, тронуть коня туда, на полночь, — и больше не лежать, не считать, не думать, а делать своё дело, в котором, по крайности, всё ясно: вот ты, вот враг, вот те, кого надо сберечь. Завтра был корпус. Завтра — первый шаг в тыл, из которого половина не ворочается. Я закрыл глаза и уснул — крепко, без снов, как сплю всегда, когда дело наконец решено и остаётся одно: его делать. А оно было решено. Поутру начинался рейд.

Глава 6

К началу августа корпус изготовился к прыжку, и весь исходный район у Хопра гудел, как улей перед роением.

Сюда, в излучину, в перелески и балки по эту сторону реки, день и ночь подтягивались сотни. Стояли так густо, что кони объели траву на версту кругом, и их приходилось гонять на дальние луга под охраной. По ночам не велено было жечь больших костров, чтоб не выдать с того берега, сколько нас собралось, — и ночами весь стан тонул в темноте, только тлели по балкам прикрытые угли да изредка вспыхивал чей-нибудь чубук. Зато днём кипела работа: ковали коней, чинили сёдла и упряжь, подвозили патроны и набивали ими подsumки впрок, потому что в тылу пополнить будет неоткуда — что унесёшь на себе, тем и воюй. Свозили взрывчатку, пироксилиновые шашки, бикфордов шнур — это уже по моей части, и я лично проверял, сухо ли хранят, потому что отсыревшая шашка в нужный час подведёт вернее предателя.

Я ходил по этому стану, глядел на тихую, деловитую суету, и всё это было мне не внове: чинят сбрую, берегут коня, копят то, чего в чужой стороне не достанешь. Где-то тут, в перелеске, шорник дратвой прихватывал лопнувший подперсток; рядом казак пробовал на зуб сухарь, годен ли в дальнюю дорогу, и совал в переметную суму. Так собирались в набег и до нас, по этой же степи, — только знамёна были другие.

А корпус собрался редкий. Не одни казачьи сотни — при них шли и пешие батальоны, и батареи на конной тяге, и даже несколько бронепоездов с броневиками, какие удалось добыть и приспособить к делу; всё это копилось в излучине, пряталось по перелескам, ждало своего часа. Я приглядывался к этой силе с командирским удовольствием: с таким кулаком в чужом тылу можно наделать дел, каких и не снилось красным штабам, привыкшим к нашему слабосилию на фронте. Тут было чем ударить — и ударить врасплох, там, где не ждут. Оставалось одно: ударить вовремя и в верное место. А за «верное место» отвечал нынче я, со своими глазами.

Своих я готовил особо. Покуда весь стан копил да чинил, я гонял «беркутов» по другому делу — по тому, что в рейде и решает: ходить тихо в ночи, рвать путь, валить телеграфный столб, ставить заряд так, чтоб встало надолго. Аникея с тремя самыми ловкими посадил на подрывное — учил вязать заряд, закладывать, отходить по счёту; кто на фронте над каждым патроном трясся, тому теперь предстояло рвать казённого добра на целую станцию зараз. Гаврила ворчал, что не казачье это дело — с проводами да шашками пироксилиновыми возиться, на что Архип тихо заметил ему, что и шашка хороша на своём месте, а телеграфный столб шашкой не свалишь — тут наука нужна. Тимофей, по обыкновению, готовил к худшему: проверял, у всех ли сухари да патроны на три дня боя, у всех ли подкован конь, нет ли поклажи лишней. «В рейде, — говорил он, — лишний фунт нынче — это лишняя верста, какую конь не пройдёт, когда станет позарез». И был прав. Я его не поправлял: пусть приучает людей к мере, покуда мера ещё держится. А мера в богатом тылу — штука хрупкая; долго не продержится. Да об этом я помалкивал.

«Беркутов!» — окликнули меня от штабной избы, и я пошёл на зов.

Шумилин был там, и при нём — Мамантов, грузный, насупленный, склонившийся над картой так низко, будто хотел продавить её локтями. Он, видно, не спал не одну ночь: глаза покраснели, веки набрякли. Но взгляд из-под бровей был всё тот же — тяжёлый, цепкий, считающий. Перед ним на столе остыл нетронутый чай в жестяной кружке — по краю затянулся тонкой мутной плёнкой, ложка так и торчала, забытая, поперёк. Рядом лежала недокуренная, погасшая папироса. Генерал не поднял ни того, ни другого; палец его ходил по карте, и глаза шли за пальцем.

— Вот он, мой тихий, — буркнул генерал, не подымая головы. — Подойди. Гляди сюда.

Я подошёл. Карта была вся исчерчена, и я с одного взгляда прочёл по ней то, что и так знал из другой, далёкой памяти: корпус собирался рвать фронт не там, где он крепок, а на стыке — на шве меж двумя красными армиями, восьмой и девятой, где ни одна толком не отвечает за чужой участок и где оттого всегда жижее и пути отхода, и дозоры, и воля к драке.

— Тут у них шов, — сказал Мамантов, ткнув в карту толстым пальцем. — Шумилин божится, что жидкий. Я ему верю — да верить мало. Мне надо знать наверное, своими глазами. Ты — глаза. Пойдёшь нынче ночью, поглядишь, чем этот шов заштопан: сколько штыков, есть ли пушки, где разъезды ходят, где брод. К утру доложишь. И гляди мне — не нашуми. Нашумишь — насторожишь их, и весь корпус ляжет на этой реке вместо того, чтоб через неё перепрыгнуть. Понял, чем рискуешь?

— Понял, ваше превосходительство, — сказал я. — Не нашумлю. Это умею.

— Знаю, что умеешь. Шумилин уши прожужжал. — Он наконец поднял на меня тяжёлые глаза. — Иди. И вот ещё что. Назад вернись. Глаза мне и завтра нужны будут, и послезавтра, и через месяц — пуще, чем нынче. В тылу глаза дороже золота. Бережь себя — тоже приказ. Понял?

— Понял.

Странное дело: и Шумилин, и Мамантов — оба про одно. Береги себя, ты нам нужен. В той, прежней жизни мне такого не говорили — там первым делом берегли технику, а мою графу в списке всегда было кем заполнить. Я вышел, притворил за собой дверь — и застал себя за странным делом: примеряю, ладно ли сидит шашка, поправляю ремень, тяну на место сбившийся подсумок, — будто уговорился с кем вернуться к утру целым. Так и пошёл собираться в ночь, с этой непрошеной оглядкой на себя.

* * *

Взял я с собой одного Архипа. Вдвоём оно сподручнее: где двое — там ещё разведка, а где трое — уже толпа, а толпа в ночном поиске и шумит, и видна.

Шли налегке, оставив коней за версту с Мишкой, дальше — пешими, низами, по балкам, как ходили уже не раз. Ночь выдалась тёмная, безлунная, в самый раз для нашего дела; от реки тянуло сыростью и тиной, по-над водой стелился туман, и в этом тумане мы и подобрались к самому берегу, к камышам, откуда виден был тот, красный берег. Архип шёл впереди и вёл меня, как водит слепого поводырь, — за рукав, за плечо, чуть прихватывая, когда надо было замереть; он читал темноту подошвами, всем телом, и я доверялся ему, как доверяешься тому, чьё ремесло старше и вернее твоего.

Последние сто шагов ползли — молча, по одному. Я полз за Архипом след в след, вжимаясь в землю, и считал про себя, чтоб не частить: вдох, три шага, замри, слушай. Камыш резал ладони, под локтями чавкала холодная прибрежная жижа. Слева вдруг плеснула рыба — я обмер; Архип и не дрогнул: рыба, мол, не страшно. Поползли дальше — сажень, ещё сажень, и от чёрной воды потянуло сыростью. Вот и камыши.

У камышей он лёг, замер, обратился в слух. Я — в зрение. И мы стали читать чужой берег, каждый своим чутьём.

Шов и впрямь был жидкий — это я увидел скоро. Костров на той стороне горело негусто, и стояли они редко, с большими тёмными промежутками, какие бывают там, где части смыкаются неплотно, краями, и каждая считает, что сосед прикроет, а сосед думает то же про неё. Я отметил, где гуще, где реже; нашёл глазами тёмный провал — низину, поросшую кустарником, спускавшуюся к самой воде, где, похоже, не стояло никого: ни костра, ни оклика, ни огонька сигарки. Туда, в этот провал, и надо было вести корпус. Я запоминал, накладывал в памяти на карту, считал костры, прикидывал по кострам штыки — по-старому, по-фронтному: костёр на десяток, десяток на костёр.

Справа, поодаль, чернели орудия — батарея, две пушки, а то и три. Выпряженные, хоботы к небу. Прислуга спала у передков. Часового при ней я не разглядел: может, и не выста-

вили. И то ладно — батарея стояла далеко в стороне, до нашей низины не доставала. Ближе к воде темнела мазанка, не то рыбацья, не то баня. У стены маячил часовой, один на весь участок. Привалился, дремал стоя. Я считал, складывал, прикидывал. Шумилин и моя память не соврали. Шов был не просто жидок — дыряв, как старый невод. Сунь сюда корпус перед светом, в эту низину, через брод, — и мы будем на той стороне прежде, чем спящие разберут спросонья: явь это или дурной сон.

— Брод, — выдохнул мне в ухо Архип, едва шевеля губами. — Левее. Слышишь? Вода по перекаату иначе бормочет. Там мелко. Конь пройдёт, не замочив брюха.

Я прислушался — и впрямь: левее звук воды менялся, делался дробным, лопочущим, как на отмели. Старик нашёл ухом то, чего я не разглядел бы глазами и за час. Я переложил и это в память: брод — левее низины. Туда. Связал в уме две нитки, низину и брод, в одну дорогу, по которой завтра пройдёт корпус. Держал её в голове — низину, брод, редкие костры, сонного часового у мазанки — и поймал, что дышу через раз, тихо, будто эта дорога держится не в памяти, а на весу, на одном моём вдохе, и стоит выдохнуть неловко — соскользнёт. Шесть тысяч сабель прыгнут через реку по этой нитке. Я перекатил во рту сухую слюну, сглотнул и снова прошёл дорогу от края до края, проверяя, крепко ли легла.

А потом я сам едва всё не сгубил.

Засмотревшись на тот берег, я подался чуть вперёд — и локтем потревожил сухую корягу в камышах. Она хрустнула. Негромко — а в ночной тиши над водой будто выстрелила. От ближнего костра разом поднялась тёмная фигура.

— Кто там? — окликнули настороженно. — Кто в камышах?

Я обмер. Вот оно. По моей же дури. Рука Архипа легла мне на загривок и вдавила в ил: лежи, не дыши. Мы вжались в холодную грязь и замерли. Я слышал, как там, на берегу, человек вглядывается в темноту, переступает, как — целую вечность — решает: померещилось или нет. Сердце колотило в самый ил под грудью. Подними он других, пусти они по камышам цепь — нам отсюда не выйти, а корпусу остаться без глаз, без брода, без дороги. По одной моей оплошке.

Не поднял. Поглядел, послушал — и пальнул для острастки наугад, длинной слепой очередью поверх камышей; пули прошли злым посвистом над самой головой, шлёпнули по воде в шаг справа. Выпустил ленту в темноту, буркнул что-то успокоенно, сел обратно к костру. Тишина его обманула.

А мы лежали в грязи ещё долго, давая дыханию выровняться; грязь холодила нутро, затекала за ворот, и я считал про себя удары сердца, чтоб не подняться раньше срока. Спешка тут убивала вернее всякой пули. Архип чуть слышно выдохнул мне в самое ухо: «Носом не дыши — носом громко. Ртом дыши». Я послушался. И было стыдно, как мальчишке: двадцать лет ремеслу, две войны за плечами — а чуть не спалил всё дело о сухую корягу.

Поползли назад, когда восток тронулся серым. Тем же путём. Так же медленно — сажень за саженью, прочь от воды, в туман, в камыш, в темноту балок. Я нёс в голове добытое бережнее раненого: низину, брод, редкие костры, их сонную пальбу. Оброни хоть малость, перепутай брод с низиной — и завтра корпус заплатит за мою обмолвку кровью на переправе.

Когда отползли подальше и можно стало шептать, Архип, отдышавшись, шепнул:

— Слышал, как бьёт? Наугад, со скуки. Это, Степан, хорошо. Где со скуки палят — там не ждут. Ждали бы — молчали б, нас слушали. А эти сами себя глушат своим же грохотом. Спят они тут, на шве-то. Крепко спят.

И это была верная примета — вернее всех моих карт. Он прочёл их сон по их же дури, по одной слепой очереди, и я снова подумал, что без этого старика, без его подошв и ушей, всё моё дальнейшее знание стоило бы немногого. Я знал, что шов жидок, из книги. А что красные на нём нынче ночью спят — это знал один Архип, и знал наверняка.

* * *

Назад мы добрались перед самым светом, мокрые, перемазанные илом по самые брови, — и я, не переодевшись, как был, пошёл к штабной избе докладывать.

Доложил всё: где жидко, где гуще, где низина-провал, где брод, что палят наугад со скуки — стало быть, не ждут. Шумилин наносил мои слова на карту, и синие да красные значки ложились ровно, без зазора, складываясь в ту самую картину, какую он, старый волк, и предвидел. Мамантов слушал, кивал тяжело и под конец крикнул:

— Спят, говоришь. — Он распрямился, потёр поясницу. — Ну, дай им Бог поспать ещё ночку. А поутру разбудим.

И тут я выложил то, ради чего, по правде, и рвался в этот рейд больше всех. Придвинул к себе карту, повёл пальцем по красной нитке железной дороги, что тянулась от тыла к их фронту, и стал класть на неё узлы — станцию, мост, развилку, где сходятся ветки.

— Прорваться — это, ваше превосходительство, ещё четверть дела, — сказал я. — Толк не в том, чтоб добра набрать. Вот жила, — я прижал палец к дороге. — По ней они фронт кормят и двигают. Её и резать: рельсу, провод, склад. Корпус в тылу — это нож. А нож в сало не суют. Суют под рёбра. Иначе завязнет в чужом барахле да и затупится.

— Рельсы, телеграф... — Мамантов поднял тяжёлую бровь. — А не размотаю ли я этак корпус на мелкие шайки по всему тылу, что нас после по частям и побьют? Кулак надо в кулаке держать, а не пальцы растопыривать.

— В кулаке и держать, ваше превосходительство, — отозвался я. — А пути рвать малыми группами, накоротке, и тут же назад, к корпусу, не отрываясь. Не размениваться. Свалил узел — и дальше, покуда красные спросонья чешутся. Группа ушла, дело сделала, вернулась — а кулак цел.

Мамантов подумал, побарабанил пальцами по карте, буркнул что-то одобрителное себе под нос.

Я говорил это просто, по-казачьи, как про знакомое ремесло, и переводил на язык девятнадцатого года то, чему меня учили в другом веке. Разложил по карте, какие узлы рвать первыми, в каком порядке, как малыми группами рвать пути и позади себя — чтоб красные, опомнившись, не подвезли по рельсам подмогу нам в спину. Шумилин слушал и кивал — ему ложилось ровно, он и сам думал так же. А Мамантов глядел на меня долго, тяжело, из-под набрякших век, и не говорил ничего.

— Складно, — сказал он наконец. — Складно стелешь, урядник. Откуда только в тебе это всё. — Он отвернулся к карте. — Рельсы рвать — это верно, это я и сам собирался. А вот удержать своих, чтоб не растащили рейд по дворам за барахлом, — это потруднее, чем рельсу свернуть. Дай казаку волю в богатом тылу — он тебе через неделю не корпус будет, а ярмарка на колёсах.

Он сказал это будто в шутку, а вышло горько — и я увидел, что генерал не шутит вовсе, что боится этой беды всерьёз, давно, по опыту прежних своих войн. Он знал казака. Знал и то, чего стоит казачья воля, дорвавшаяся до богатого, беззащитного тыла. И, зная, всё одно вёл корпус в этот тыл, потому что иначе было нельзя. Он снова склонился над картой, повёл пальцем вдоль синей стрелы прорыва до самого её острия, глубоко в чужой глубине, и палец на острие чуть задержался, будто уперся во что-то, чего на карте не было.

— Удержим, ваше превосходительство, — сказал я. — Покуда будет дело, удержим. Дело азарт остужает.

— Дай-то Бог. — Он поглядел на меня тяжело, без веры. — Ну, ступай, переодейся, на тебе ила полпуда. И спи. Завтра не до сна будет.

Шумилин проводил меня до порога. Уже в сенях придержал за локоть, сказал негромко, чтоб не слышал генерал:

— Я за тебя головой поручился, Беркутов. Не забыл?

— Не забыл, Лавр Гаврилович.

— Так ты там, в тылу, не геройствуй сверх нужды. Мне твоя голова нужна на плечах, а не на колу. И моя при ней, — добавил он суше. — Иди. С Богом.

Я вышел в светающее утро. Восток над Хопром уже серел, обещая ясный, погожий день — последний наш день по эту сторону фронта. Стан просыпался: тихо, без труб, без шума, как просыпается зверь перед охотой. И в этой собранной, безмолвной готовности шести тысяч сабель было что-то такое, отчего даже мне на минуту сделалось легко и весело, как бывает легко всякому, кто стоит на самом краю большого, опасного дела и знает, что край этот уже не обойти и не отложить.

Я нашёл своих, разбудил Тимофея, велел проверить людей и коней, осмотреть, у всех ли сухи патроны и подтянуты ли тороки. Потом собрал ядро и разложил по уму, кому что в рейде. Аникею с его тремя — подрыв: рельсы, мосты, телеграф; этих беречь пуше всех, потому что заменить подрывника в чужом тылу будет нечем. Архипу — поиск, дозор, ночное ухо. Гавриле с «лыюисом» — прикрытие, огневой кулак на тот случай, когда тихо не выйдет. Тимофею — обоз, раненые, связь меж группами и общий пригляд, чтоб никто не отбилсЯ за добычей. Мишке — коноводство при штабе группы, и ни шагу в драку. Каждый молча принимал своё, повторял про себя, и я видел: поняли, готовы. Отряд за весну с лишним сладился так, что понимали меня с полуслова, а я их — с полувзгляда. Это и есть главное богатство командира, дороже всех трофеев, какие сулил впереди богатый тыл: люди, что знают своё место и не подведут. Гаврила уже не спал — сидел, чистил свой «лыюис», и при виде меня, перемазанного илом, только осклабился:

— Что, Стёпа, в речке купался ночью? Холодна, поди, водица?

— Холодна, — сказал я. — Да та сторона теплее будет. Завтра погреемся.

— Это по мне, — сказал он и любовно щёлкнул затвором. — Засиделись тут. Душа просит дела.

Тимофей дела не просил — Тимофей молча проверял подпруги, и по тому, как он их затягивал, основательно, с двойной проверкой, я видел: он готовится не к ярмарке, а к худу. И был прав по-своему, как Гаврила прав был по-своему. Мне нужны были оба: один — чтоб вести людей на кураже, другой — чтоб не дать кураж этот спалить их зазря.

День прошёл в последних сборах — долгий, томительный, какими бывают все последние дни перед делом, когда всё уже сделано, проверено по третьему разу, и остаётся одно: ждать. Люди отсыпались впрок, чистили оружие, писали — кто умел — короткие письма на случай, отдавали их обозным с наказом: коли что, переслать на Дон. Я тоже подумал было сесть за такое письмо, Полине, — да не стал. Что в нём напишешь? «Коли убьют — прости»? Этого не пишут. Лучше уж вернуться и сказать живым словом. А не вернусь — так и письмо не поможет.

К ночи корпус снялся и пошёл — тихо, без труб, без огней, переходя из балки в балку, стягиваясь к той излучине, где ждал нас брод и сонный, ничего не чующий враг. Шести тысяч сабель двигались в темноте почти беззвучно: только глухой перестук копыт по мягкой земле, скрип кожи, фыркание коней да изредка вполголоса оклик. Я вёл своих в голове, рядом с разъездом, что должен был первым войти в ту низину-провал, которую я высмотрел ночью. Дорога была теперь моя, выношенная в голове, и я узнавал её в темноте по приметам, какие запомнил: вот излом берега, вот куст, вот тянет тиной от брода. Не ошибся. Привёл.

У самой воды корпус сгустился, замер, изготовился — тёмная, безмолвная, дышащая масса коней и людей, ждущая сигнала. Слышно было только, как переступают да всхрапывают кони, как поскрипывает сбруя, да где-то впереди, у брода, тихо плещет вода под первыми, кто уже входил в неё, пробуя дно. Я стоял в голове своих и слушал эту тишину перед бурей. Через малое время её разорвёт — и начнётся то, ради чего мы сюда шли.

На исходном рубеже, в последней балке перед рекой, дали короткий роздых — подтянуться, изготовиться. Я нащупал под рубахой образок и подержал в кулаке — не молясь, а так, по привычке, что завелась за этот поход. Отцов медный лик грел ладонь. За рекой, в чужой

стороне, ждали меня рельсы, которые надо рвать, и брат, которого надо сберечь, и тихий человек в очках, с которым не дочтён счёт. А за спиной оставались Дон, отец на завалинке, Полинин неровный почерк. Я сунул образок назад, к сердцу. Впереди, за чёрной полосой воды, чуть серело небо: занимался тот самый рассвет, в который нам предстояло прыгнуть.

Слева, в темноте, я различил Архипа — он уже сидел в седле, недвижимый, слитый с конём, и нюхал воздух, как нюхает зверь перед гоном. Гаврила рядом поглаживал свой «льюис», будто коня. Мишка держал моего коня в поводу, и в серой мгле видно было его напряжённое, не по-детски серьёзное лицо. Все были тут. Все готовы.

Но о том, что ждёт за рекой, я думать не стал. Перед прыжком о падении не думают — думают об одном: как оттолкнуться посильнее да куда поставить ногу.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.